

# ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ

ПОЖАЛУЙ, ОДИН ИЗ САМЫХ ВЕЛИКИХ РОМАНОВ СОВРЕМЕННОСТИ

## РЭЙ БРЭДБЕРИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР·ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

# Вино из одуванчиков
# Рэй Брэдбери

Аннотация
Рэй Брэдбери. Вино из одуванчиков

## Аннотация

Семейство Сполдингов, проживающее в маленьком американском городке, бережно хранит свои традиции. Одна из них — приготовление вина из одуванчиков, «пойманного и закупоренного в бутылки лета». А двенадцатилетний Дуглас Сполдинг решает сохранить память о летних днях по-своему: он ведет дневник, фиксируя в нем не только «обряды и обыкновения», но и собственные «открытия и откровения». Очень богатым на них оказывается это лето — сотканное из множества важных событий, обретений и потерь. Яркое, удивительное, фантастическое лето 1928 года… Роман составлен из рассказов 1946–57 гг. Многие из них впоследствии перепечатывались в сборниках Брэдбери.

# Рэй Брэдбери
# Вино из одуванчиков

*Уолтеру А. Брэдбери, не дядюшке и не двоюродному брату, но, вне всякого сомнения, издателю и другу.*

Утро было тихое, город, окутанный тьмой, мирно нежился в постели. Пришло лето, и ветер был летний — теплое дыхание мира, неспешное и ленивое. Стоит лишь встать, высунуться в окошко, и тотчас поймешь: вот она начинается, настоящая свобода и жизнь, вот оно, первое утро лета.

Дуглас Сполдинг, двенадцати лет от роду, только что открыл глаза и, как в теплую речку, погрузился в предрассветную безмятежность. Он лежал в сводчатой комнатке на четвертом этаже — во всем городе не было башни выше, — и оттого, что он парил так высоко в воздухе вместе с июньским ветром, в нем рождалась чудодейственная сила. По ночам, когда вязы, дубы и клены сливались в одно беспокойное море, Дуглас окидывал его взглядом, пронзавшим тьму, точно маяк. И сегодня… — Вот здорово! — шепнул он. Впереди целое лето, несчетное множество дней — чуть не

полкалендаря. Он уже видел себя многоруким, как божество Шива из книжки про путешествия: только поспевай рвать еще зеленые яблоки, персики, черные как ночь сливы. Его не вытащить из лесу, из кустов, из речки. А как приятно будет померзнуть, забравшись в заиндевелый ледник, как весело жариться в бабушкиной кухне заодно с тысячью цыплят!

А пока — за дело!

(Раз в неделю ему позволяли ночевать не в домике по соседству, где спали его родители и младший братишка Том, а здесь, в дедовской башне; он взбегал по темной винтовой лестнице на самый верх и ложился спать в этой обители кудесника, среди громов и видений, а спозаранку, когда даже молочник еще не звякал бутылками на улицах, он просыпался и приступал к заветному волшебству.)

Стоя в темноте у открытого окна, он набрал полную грудь воздуха и изо всех сил дунул.

Уличные фонари мигом погасли, точно свечки на черном именинном пироге. Дуглас дунул еще и еще, и в небе начали гаснуть звезды.

Дуглас улыбнулся. Ткнул пальцем.

Там и там. Теперь тут и вот тут…

В предутреннем тумане один за другим проре-

зались прямоугольники — в домах зажигались огни. Далеко-далеко, на рассветной земле вдруг озарилась целая вереница окон.

— Всем зевнуть! Всем вставать! — Огромный дом внизу ожил.

— Дедушка, вынимай зубы из стакана! — Дуглас немного подождал. — Бабушка и прабабушка, жарьте оладьи!

Сквозняк пронес по всем коридорам теплый дух жареного теста, и во всех комнатах встрепенулись многочисленные тетки, дядья, двоюродные братья и сестры, что съехались сюда погостить.

— Улица Стариков, просыпайся! Мисс Элен Лумис, полковник Фрилей, миссис Бентли! Покашляйте, встаньте, проглотите свои таблетки, пошевеливайтесь! Мистер Джонас, запрягайте лошадь, выводите из сарая фургон, пора ехать за старьем!

По ту сторону оврага открыли свои драконьи глаза угрюмые особняки. Скоро внизу появятся на электрической Зеленой машине две старухи и покатят по утренним улицам, приветственно махая каждой встречной собаке.

— Мистер Тридден, бегите в трамвайное депо! — И вскоре по узким руслам мощеных улиц поплывет трамвай, рассыпая вокруг жаркие

синие искры.

— Джон Хаф, Чарли Вудмен, вы готовы? — шепнул Дуглас улице Детей. — Готовы? — спросил он у бейсбольных мячей, что мокли на росистых лужайках, у пустых веревочных качелей, что, скучая, свисали с деревьев.

— Мам, пап, Том, проснитесь!

Тихонько прозвенели будильники. Гулко пробили часы на здании суда. Точно сеть, заброшенная его рукой, с деревьев взметнулись птицы и запели. Дирижируя своим оркестром, Дуглас повелительно протянул руку к востоку.

И взошло солнце.

Дуглас скрестил руки на груди и улыбнулся, как настоящий волшебник. Вот то-то, думал он: только я приказал — и все повскакали, все забегали. Отличное будет лето!

И он напоследок оглядел город и щелкнул ему пальцами. Распахнулись двери домов, люди вышли на улицу. Лето тысяча девятьсот двадцать восьмого года началось.

В то утро, проходя по лужайке, Дуглас наткнулся на паутину. Невидимая нить коснулась его лба и неслышно лопнула.

И от этого пустячного случая он насторожился: день будет не такой, как все. Не такой еще

и потому, что бывают дни, сотканные из одних запахов, словно весь мир можно втянуть носом, как воздух: вдохнуть и выдохнуть, — так объяснял Дугласу и его десятилетнему брату Тому отец, когда вез их в машине за город. А в другие дни, говорил еще отец, можно услышать каждый гром и каждый шорох вселенной. Иные дни хорошо пробовать на вкус, а иные — на ощупь. А бывают и такие, когда есть все сразу. Вот, например, сегодня — пахнет так, будто в одну ночь там, за холмами, невесть откуда взялся огромный фруктовый сад, и все до самого горизонта так и благоухает. В воздухе пахнет дождем, но на небе — ни облачка. Того и гляди, кто-то неведомый захохочет в лесу, но пока там тишина…

Дуглас во все глаза смотрел на плывущие мимо поля. Нет, ни садом не пахнет, ни дождем, да и откуда бы, раз ни яблонь нет, ни туч. И кто там может хохотать в лесу?..

А все-таки, — Дуглас вздрогнул, — день этот какой-то особенный.

Машина остановилась в самом сердце тихого леса.

— А ну, ребята, не баловаться!

(Они подталкивали друг друга локтями.)

— Хорошо, папа.

Мальчики вылезли из машины, захватили синие жестяные ведра и, сойдя с пустынной проселочной дороги, погрузились в запахи земли, влажной от недавнего дождя.

— Ищите пчел, — сказал отец. — Они всегда вьются возле винограда, как мальчишки возле кухни. Дуглас! — Дуглас встрепенулся.

— Опять витаешь в облаках, — сказал отец. — Спустись на землю, пойдем с нами.

— Хорошо, папа.

И они гуськом побрели по лесу: впереди отец, рослый и плечистый, за ним Дуглас, а последним семенил коротышка Том. Поднялись на невысокий холм и посмотрели вдаль. Вон там, указал пальцем отец, там обитают огромные, по-летнему тихие ветры и, незримые, плывут в зеленых глубинах, точно призрачные киты.

Дуглас глянул в ту сторону, ничего не увидел и почувствовал себя обманутым — отец, как и дедушка, вечно говорит загадками. И… и все-таки… Дуглас затаил дыхание и прислушался.

Что-то должно случиться, подумал он, я уж знаю.

— А вот папоротник, называется «Венерин волос». — Отец неторопливо шагал вперед, синее ведро позвякивало у него в руке. — А это,

чувствуете? — И он ковырнул землю носком башмака. — Миллионы лет копился этот перегной, осень за осенью падали листья, пока земля не стала такой мягкой.

— Ух ты, я ступаю как индеец, — сказал Том. — Совсем неслышно!

Дуглас потрогал землю, но ничего не ощутил; он все время настороженно прислушивался. Мы окружены, думал он. Что-то случится! Но что? Он остановился. Выходи же! Где ты там? Что ты такое? — мысленно кричал он.

Том и отец шли дальше по тихой, податливой земле.

— На свете нет кружева тоньше, — негромко сказал отец. И показал рукой вверх, где листва деревьев вплеталась в небо — или, может быть, небо вплеталось в листву? — Все равно, — улыбнулся отец, — все это кружева, зеленые и голубые; всмотритесь хорошенько и увидите — лес плетет их, словно гудящий станок. — Отец стоял уверенно, по-хозяйски, и рассказывал им всякую всячину, легко и свободно, не выбирая слов. Часто он и сам смеялся своим рассказам, и от этого они текли еще свободнее. — Хорошо при случае послушать тишину, — говорил он, — потому что тогда удается услышать, как носится в воздухе

пыльца полевых цветов, а воздух так и гудит пчелами, да, да, так и гудит! А вот — слышите? Там, за деревьями водопадом льется птичье щебетанье!

Вот сейчас, думал Дуглас. Вот оно. Уже близко! А я еще не вижу… Совсем близко! Рядом!

— Дикий виноград, — сказал отец. — Нам повезло. Смотрите-ка!

Не надо! — ахнул про себя Дуглас.

Но Том и отец наклонились и погрузили руки в шуршащий куст. Чары рассеялись. То пугающее и грозное, что подкрадывалось, близилось, готово было ринуться и потрясти его душу, исчезло!

Опустошенный, растерянный Дуглас упал на колени. Пальцы его ушли глубоко в зеленую тень и вынырнули, обагренные алым соком, словно он взрезал лес ножом и сунул руки в открытую рану.

— Мальчики, завтракать!

Ведра чуть не доверху наполнены диким виноградом и лесной земляникой; вокруг гудят пчелы — это вовсе не пчелы, а целый мир тихонько мурлычет свою песенку, говорит отец, а они сидят на замшелом стволе упавшего дерева, жуют сандвичи и пытаются слушать лес, как слушает он. Отец, чуть посмеиваясь, искоса поглядывает на Дугласа. Хотел было что-то сказать, но промол-

чал, откусил еще кусок сандвича и задумался.

— Хлеб с ветчиной в лесу — не то что дома. Вкус совсем другой, верно? Острее, что ли… Мятой отдает, смолой. А уж аппетит как разыгрывается!

Дуглас перестал жевать и потрогал языком хлеб и ветчину. Нет, нет… обыкновенный сандвич.

Том кивнул, продолжая жевать.

— Я понимаю, пап.

Ведь уже почти случилось, — думает Дуглас. Не знаю, что это, но оно большущее, прямо громадное. Что-то его спугнуло. Где же оно теперь? Опять ушло в тот куст? Нет, где-то за мной. Нет, нет, здесь… Тут, рядом.

Дуглас исподтишка пощупал свой живот.

Оно еще вернется, надо только немножко подождать. Больно не будет, я уж знаю, не за тем оно ко мне придет. Но зачем же? Зачем?

— А ты знаешь, сколько раз мы в этом году играли в бейсбол? А в прошлом? А в позапрошлом? — ни с того ни с сего спросил Том.

Губы его двигались быстро-быстро.

— Я все записал! Тысяч пятьсот шестьдесят восемь раз! А сколько раз я чистил зубы за десять лет жизни? Шесть тысяч раз! А руки мыл пятнадцать тысяч раз, спал четыре с лишним тысячи раз, и это только ночью. И съел шестьсот перси-

ков и восемьсот яблок. А груш — всего двести, я не очень-то люблю груши. Что хочешь спроси, у меня все записано! Если вспомнить и сосчитать, что я делал за все десять лет, прямо тысячи миллионов получаются!

Вот, вот, думал Дуглас. Опять оно ближе. Почему? Потому что Том болтает? Но разве дело в Томе? Он все трещит и трещит с полным ртом, отец сидит молча, насторожился, как рысь, а Том все болтает, никак не угомонится, шипит и пенится, как сифон с содовой.

— Книг я прочел четыреста штук; кино смотрел и того больше: сорок фильмов с участием Бака Джонса, тридцать — с Джеком Хокси, сорок пять — с Томом Миксом, тридцать девять — с Хутом Гибсоном, сто девяносто два мультипликационных про кота Феликса, десять с Дугласом Фербенксом, восемь раз видел «Призрак в опере» с Лоном Чани, четыре раза смотрел Милтона Силлса, даже один про любовь, с Адольфом Менжу, только я тогда просидел целых девяносто часов в киношной уборной, все ждал, чтоб эта ерунда кончилась и пустили «Кошку и канарейку» или «Летучую мышь». А уж тут все цеплялись друг за дружку и визжали два часа без передышки. И съел за это время четыреста леденцов, триста

тянучек, семьсот стаканчиков мороженого…

Том болтал еще долго, минут пять, пока отец не прервал его:

— А сколько ягод ты сегодня собрал, Том?

— Ровно двести пятьдесят шесть, — не моргнув глазом ответил Том.

Отец рассмеялся, и на этом окончился завтрак; они вновь двинулись в лесные тени собирать дикий виноград и крошечные ягоды земляники. Все трое наклонялись к самой земле, руки быстро и ловко делали свое дело, ведра все тяжелели, а Дуглас прислушивался и думал: вот, вот оно, опять близко, прямо у меня за спиной. Не оглядывайся! Работай, собирай ягоды, кидай в ведро. Оглянешься — спугнешь. Нет уж, на этот раз не упущу! Но как бы его заманить поближе, чтобы поглядеть на него, глянуть прямо в глаза? Как?

— А у меня в спичечном коробке есть снежинка, — сказал Том и улыбнулся, глядя на свою руку, — она была вся красная от ягод, как в перчатке.

Замолчи! — чуть не завопил Дуглас, но нет, кричать нельзя: всполошится эхо и все спугнет…

Постой-ка… Том болтает, а оно подходит все ближе! Значит, оно не боится Тома, Том только притягивает его, Том тоже немножко оно…

— Дело было еще в феврале, валил снег, а я подставил коробок, — Том хихикнул, — поймал одну снежинку побольше и — раз! — захлопнул, скорей побежал домой и сунул в холодильник!

Близко, совсем близко. Том трещал без умолку, а Дуглас не сводил с него глаз. Может, отскочить, удрать — ведь из-за леса накатывается какая-то грозная волна. Вот сейчас обрушится и раздавит…

— Да, сэр, — задумчиво продолжал Том, обрывая куст дикого винограда. — На весь штат Иллинойс у меня у одного летом есть снежинка. Такой клад больше нигде не сыщешь, хоть тресни. Завтра я ее открою, Дуг, ты тоже можешь посмотреть…

В другое время Дуглас бы только презрительно фыркнул — ну да, мол, снежинка, как бы не так. Но сейчас на него мчалось то, огромное, вот-вот обрушится с ясного неба — и он лишь зажмурился и кивнул.

Том до того изумился, что даже перестал собирать ягоды, повернулся и уставился на брата.

Дуглас застыл, сидя на корточках. Ну как тут удержаться? Том испустил воинственный клич, кинулся на него, опрокинул на землю. Они покатились по траве, барахтаясь и тузя друг друга.

Нет, нет! Ни о чем другом не думать! И вдруг…

Кажется, все хорошо! Да! Эта стычка, потасовка не спугнула набегавшую волну; вот она захлестнула их, разлилась широко вокруг и несет обоих по густой зелени травы в глубь леса. Кулак Тома угодил Дугласу по губам. Во рту стало горячо и солоно. Дуглас обхватил брата, крепко стиснул его, и они замерли, только сердца колотились, да дышали оба со свистом. Наконец Дуглас украдкой приоткрыл один глаз: вдруг опять ничего?

Вот оно, все тут, все как есть!

Точно огромный зрачок исполинского глаза, который тоже только что раскрылся и глядит в изумлении, на него в упор смотрел весь мир.

И он понял: вот что нежданно пришло к нему, и теперь останется с ним, и уже никогда его не покинет.

Я ЖИВОЙ, — подумал он.

Пальцы его дрожали, розовея на свету стремительной кровью, точно клочки неведомого флага, прежде невиданного, обретенного впервые… Чей же это флаг? Кому теперь присягать на верность?

Одной рукой он все еще стискивал Тома, но совсем забыл о нем и осторожно потрогал светящиеся алым пальцы, словно хотел снять перчатку, потом поднял их повыше и оглядел со

всех сторон. Выпустил Тома, откинулся на спину, все еще воздев руку к небесам, и теперь весь он был — одна голова; глаза, будто часовые сквозь бойницы неведомой крепости, оглядывали мост — вытянутую руку и пальцы, где на свету трепетал кроваво-красный флаг.

— Ты что, Дуг? — спросил Том.

Голос его доносился точно со дна зеленого замшелого колодца, откуда-то из-под воды, далекий и таинственный.

Под Дугласом шептались травы. Он опустил руку и ощутил их пушистые ножны. И где-то далеко, в теннисных туфлях, шевельнул пальцами. В ушах, как в раковинах, вздыхал ветер. Многоцветный мир переливался в зрачках, точно пестрые картинки в хрустальном шаре. Лесистые холмы были усеяны цветами, будто осколками солнца и огненными клочками неба. По огромному опрокинутому озеру небосвода мелькали птицы, точно камушки, брошенные ловкой рукой. Дуглас шумно дышал сквозь зубы, он словно вдыхал лед и выдыхал пламя. Тысячи пчел и стрекоз пронизывали воздух, как электрические разряды. Десять тысяч волосков на голове Дугласа выросли на одну миллионную дюйма. В каждом его ухе стучало по сердцу, третье колотилось

в горле, а настоящее гулко ухало в груди. Тело жадно дышало миллионами пор.

Я и правда живой, думал Дуглас. Прежде я этого не знал, а может, и знал, да не помню.

Он выкрикнул это про себя раз, другой, десятый! Надо же! Прожил на свете целых двенадцать лет и ничегошеньки не понимал! И вдруг такая находка: дрался с Томом, и вот тебе — тут, под деревом, сверкающие золотые часы, редкостный хронометр с заводом на семьдесят лет!

— Дуг, да что с тобой?

Дуглас издал дикий вопль, сгреб Тома в охапку, и они вновь покатились по земле.

— Дуг, ты спятил?

— Спятил!

Они катились по склону холма, солнце горело у них в глазах и во рту, точно осколки лимонно-желтого стекла; они задыхались, как рыбы, выброшенные из воды, и хохотали до слез.

— Дуг, ты не рехнулся?

— Нет, нет, нет, нет!

Дуглас зажмурился: в темноте мягко ступали пятнистые леопарды.

— Том! — И тише: — Том… Как по-твоему, все люди знают… знают, что они… живые?

— Ясно, знают! А ты как думал? — Леопарды

неслышно прошли дальше во тьму, и глаза уже не могли за ними уследить.

— Хорошо бы так, — прошептал Дуглас. — Хорошо бы все знали.

Он открыл глаза. Отец, подбоченясь, стоял высоко над ним и смеялся; голова его упиралась в зеленолистый небосвод. Глаза их встретились.

Дуглас встрепенулся. Папа знает, понял он. Все так и было задумано. Он нарочно привез нас сюда, чтобы это со мной случилось! Он тоже в заговоре, он все знает! И теперь он знает, что и я уже знаю.

Большая рука опустилась с высоты и подняла его в воздух. Покачиваясь на нетвердых ногах между отцом и Томом, исцарапанный, встрепанный, все еще ошарашенный, Дуглас осторожно потрогал свои локти — они были как чужие — и с удовлетворением облизнул разбитую губу. Потом взглянул на отца и на Тома.

— Я понесу все ведра, — сказал он. — Сегодня я хочу один все тащить.

Они загадочно усмехнулись и отдали ему ведра. Дуглас стоял, чуть покачиваясь, и его ноша — весь истекающий соком лес — оттягивала ему руки. Хочу почувствовать все, что только можно, думал он. Хочу устать, хочу очень устать. Нельзя забыть ни сегодня, ни завтра, ни после.

Он шел, опьяненный, со своей тяжелой ношей, а за ним плыли пчелы, и запах дикого винограда, и ослепительное лето; на пальцах вспухали блаженные мозоли, руки онемели, и он спотыкался, так что отец даже схватил его за плечо.

— Не надо, — пробормотал Дуглас. — Я ничего, я отлично справлюсь…

Еще добрых полчаса он ощущал руками, ногами, спиной траву и корни, камни и кору, что словно отпечатались на его теле. Понемногу отпечаток этот стирался, таял, ускользал, Дуглас шел и думал об этом, а брат и молчаливый отец шли позади, предоставляя ему одному пролагать путь сквозь лес к неправдоподобной цели — к шоссе, которое приведет их обратно в город…

И вот — город в тот же день.

И еще одно откровение.

Дедушка стоял на широком парадном крыльце и, точно капитан, оглядывал широкие недвижные просторы: перед ним раскинулось лето. Он вопрошал ветер и недостижимо высокое небо, и лужайку, где стояли Дуглас и Том и вопрошали только его одного.

— Дедушка, они уже созрели? — Дедушка поскреб подбородок.

— Пятьсот, тысяча, даже две тысячи — навер-

няка. Да, да, хороший урожай. Собирать легко, соберите все. Плачу десять центов за каждый мешок, который вы принесете к прессу.

— Ура!

Мальчики заулыбались и с жаром взялись за дело. Они рвали золотистые цветы, цветы, что наводняют весь мир, переплескиваются с лужаек на мощеные улицы, тихонько стучатся в прозрачные окна погребов, не знают угомону и удержу и все вокруг заливают слепящим сверканием расплавленного солнца.

— Каждое лето они точно с цепи срываются, — сказал дедушка. — Пусть их, я не против. Вон их сколько, стоят гордые, как львы. Посмотришь на них подольше — так и прожгут у тебя в глазах дырку. Ведь простой цветок, можно сказать, сорная трава, никто ее не замечает, а мы уважаем, считаем: одуванчик — благородное растение.

Они набрали полные мешки одуванчиков и унесли вниз, в погреб. Вывалили их из мешков, и во тьме погреба разлилось сияние. Винный пресс дожидался их, открытый, холодный. Золотистый поток согрел его. Дедушка передвинул пресс, повернул ручку, завертел — быстрей, быстрей, — и пресс мягко стиснул добычу…

— Ну вот… вот так…

Сперва тонкой струйкой, потом все щедрее, обильнее побежал по желобу в глиняные кувшины сок прекрасного жаркого месяца; ему дали перебродить, сняли пену и разлили в чистые бутылки из-под кетчупа — и они выстроились рядами на полках, поблескивая в сумраке погреба.

Вино из одуванчиков.

Самые эти слова — точно лето на языке. Вино из одуванчиков — пойманное и закупоренное в бутылки лето. И теперь, когда Дуглас знал, по-настоящему знал, что он живой, что он затем и ходит по земле, чтобы видеть и ощущать мир, он понял еще одно: надо частицу всего, что он узнал, частицу этого особенного дня — дня сбора одуванчиков — тоже закупорить и сохранить; а потом настанет такой зимний январский день, когда валит густой снег, и солнца уже давным-давно никто не видел, и, может быть, это чудо позабылось, и хорошо бы его снова вспомнить, — вот тогда он его откупорит! Ведь это лето непременно будет летом нежданных чудес, и надо все их сберечь и где-то отложить для себя, чтобы после, в любой час, когда вздумаешь, пробраться на цыпочках во влажный сумрак и протянуть руку…

И там, ряд за рядом, будут стоять бутылки с вином из одуванчиков — оно будет мягко мерцать,

точно раскрывающиеся на заре цветы, а сквозь тонкий слой пыли будет поблескивать солнце нынешнего июня. Взгляни сквозь это вино на холодный зимний день — и снег растает, из-под него покажется трава, на деревьях оживут птицы, листва и цветы, словно мириады бабочек, затрепещут на ветру. И даже холодное серое небо станет голубым.

Возьми лето в руку, налей лето в бокал — в самый крохотный, конечно, из какого только и сделаешь единственный терпкий глоток; поднеси его к губам — и по жилам твоим вместо лютой зимы побежит жаркое лето…

— Теперь — дождевой воды!

Конечно, здесь годится только чистейшая вода дальних озер, сладостные росы бархатных лугов, что возносятся на заре к распахнувшимся навстречу небесам; там, в прохладных высях, они собирались чисто омытыми гроздьями, ветер мчал их за сотни миль, заряжая по пути электрическими зарядами. Эта вода вобрала в каждую свою каплю еще больше небес, когда падала дождем на землю. Она впитала в себя восточный ветер, и западный, и северный, и южный и обратилась в дождь, а дождь в этот час священнодействия уже становится терпким вином.

Дуглас схватил ковш, выбежал во двор и глубоко погрузил его в бочонок с дождевой водой.

— Вот она!

Вода была точно шелк, прозрачный, голубоватый шелк. Если ее выпить, она коснется губ, горла, сердца мягко, как ласка. Но ковш и полное ведро надо отнести в погреб, чтобы вода пропитала там весь урожай одуванчиков струями речек и горных ручьев.

Даже бабушка в какой-нибудь февральский день, когда беснуется за окном вьюга и слепит весь мир и у людей захватывает дыханье, — даже бабушка тихонько спустится в погреб.

Наверху в большом доме будет кашель, чиханье, хриплые голоса и стоны, простуженным детям очень больно будет глотать, а носы у них покраснеют, точно вишни, вынутые из наливки, — всюду в доме притаится коварный микроб.

И тогда из погреба возникнет, точно богиня лета, бабушка, пряча что-то под вязаной шалью; она принесет это «что-то» в комнату каждого болящего и разольет — душистое, прозрачное — в прозрачные стаканы, и стаканы эти осушат одним глотком. Лекарство иных времен, бальзам из солнечных лучей и праздного августовского полудня, едва слышный стук колес тележки с

мороженым, что катится по мощеным улицам, шорох серебристого фейерверка, что рассыпается высоко в небе, и шелест срезанной травы, фонтаном бьющей из-под косилки, что движется по лугам, по муравьиному царству, — все это, все — в одном стакане!

Да, даже бабушка, когда спустится в зимний погреб за июнем, наверно, будет стоять там тихонько, совсем одна, в тайном единении со своим сокровенным, со своей душой, как и дедушка, и папа, и дядя Берт, и другие тоже, словно беседуя с тенью давно ушедших дней, с пикниками, с теплым дождем, с запахом пшеничных полей, и жареных кукурузных зерен, и свежескошенного сена. Даже бабушка будет повторять снова и снова те же чудесные, золотящиеся слова, что звучат сейчас, когда цветы кладут под пресс, — как будут их повторять каждую зиму, все белые зимы во все времена. Снова и снова они будут слетать с губ, как улыбка, как нежданный солнечный зайчик во тьме.

Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков.

Они приходили неслышно. Уходили почти бесшумно. Трава пригибалась и распрямлялась вновь. Они скользили вниз по холмам, точно

тени облаков… Это бежали летние мальчишки.

Дуглас отстал и заблудился. Задыхаясь от быстрого бега, он остановился на краю оврага, на самой кромке над пропастью, и оттуда на него дохнуло холодом. Навострив уши, точно олень, он вдруг учуял старую как мир опасность. Город распался здесь на две половины. Здесь кончилась цивилизация. Здесь живет лишь вспухшая земля, ежечасно совершается миллион смертей и рождений.

И здесь проторенные или еще не проторенные тропы твердят: чтобы стать мужчинами, мальчишки должны странствовать, всегда, всю жизнь странствовать.

Дуглас обернулся. Эта тропа огромной пыльной змеей скользит к ледяному дому, где в золотые летние дни прячется зима. А та бежит к раскаленным песчаным берегам июльского озера. А вон та — к деревьям, где мальчишки прячутся меж листьев, точно терпкие, еще незрелые плоды дикой яблони, и там растут и зреют. А вот эта — к персиковому саду, к винограднику, к огородным грядам, где дремлют на солнце арбузы, полосатые, словно кошки тигровой масти. Эта тропа, заросшая, капризная, извилистая, тянется к школе. А та, прямая как стрела, — к субботним утренни-

кам, где показывают ковбойские фильмы. Вот эта, вдоль ручья, — к дикой лесной чаще…

Дуглас зажмурился.

Кто скажет, где кончается город и начинается лесная глушь? Кто скажет, город врастает в нее или она переходит в город? Издавна и навеки существует некая неуловимая грань, где борются две силы и одна на время побеждает и завладевает просекой, лощиной, лужайкой, деревом, кустом. Бескрайнее море трав и цветов плещется далеко в полях, вокруг одиноких ферм, а летом зеленый прибой яростно подступает к самому городу. Ночь за ночью чащи, луга, дальние просторы стекают по оврагу все ближе, захлестывают город запахом воды и трав, и город словно пустеет, мертвеет и вновь уходит в землю. И каждое утро овраг еще глубже вгрызается в город и грозит поглотить гаражи, точно дырявые лодчонки, и пожрать допотопные автомобили, оставленные на милость дождя и разъедаемые ржавчиной.

— Эй! Ау!

Сквозь тайны оврага, и города, и времени мчались Джон Хаф и Чарли Вудмен.

— Эй!

Дуглас медленно двинулся по тропинке. Конечно, если хочешь посмотреть на две самые

главные вещи — как живет человек и как живет природа, — надо прийти сюда, к оврагу. Ведь город, в конце концов, всего лишь большой, потрепанный бурями корабль, на нем полно народу, и все хлопочут без устали — вычерпывают воду, обкалывают ржавчину. Порой какая-нибудь шлюпка, хибарка — детище корабля, смытое неслышной бурей времени, — тонет в молчаливых волнах термитов и муравьев, в распахнутой овражьей пасти, чтобы ощутить, как мелькают кузнечики и шуршат в жарких травах, точно сухая бумага; чтобы оглохнуть под пеленой тончайшей пыли и наконец рухнуть градом камней и потоком смолы, как рушатся тлеющие угли костра, зажженного громом и синей молнией, на миг озарившей торжество лесных дебрей.

Так вот, значит, что тянуло сюда Дугласа — тайная война человека с природой: из года в год человек похищает что-то у природы, а природа вновь берет свое, и никогда город по-настоящему, до конца, не побеждает, вечно ему грозит безмолвная опасность; он вооружился косилкой и тяпкой, огромными ножницами, он подрезает кусты и опрыскивает ядом вредных букашек и гусениц, он упрямо плывет вперед, пока ему велит цивилизация, но каждый дом того и гляди

захлестнут зеленые волны и схоронят навеки, а когда-нибудь с лица земли исчезнет последний человек и его косилки и садовые лопаты, изъеденные ржавчиной, рассыплются в прах.

Город. Чаща. Дома. Овраг. Дуглас озадаченно мигает. Но какая же связь меж человеком и природой, как понять, что значат они друг для друга, когда…

Он опустил глаза.

Первый летний обряд позади — одуванчики собраны и заготовлены впрок. Пора приступать ко второму, но Дуглас застыл и не движется с места.

— Дуг! Пошли, Дуг! — Голоса затихли вдалеке.

— Я живой, — сказал Дуглас. — Но что толку? Они еще больше живые, чем я. Как же это? Как же?

Так он стоял, в одиночестве, глядя на свои ноги, не в силах двинуться с места, — и наконец понял.

В тот вечер Дуглас возвращался домой из кино вместе с родителями и братом Томом и увидел их в ярко освещенной витрине магазина — теннисные туфли. Дуглас поспешно отвел глаза, но его ноги уже ощутили прикосновение парусины и заскользили по воздуху — быстрей, быстрей! Земля завертелась, захлопали полотняные наве-

сы над витринами — такой он поднял ветер, так он мчался… Родители и Том шагали не торопясь, а между ними, пятясь задом, шел Дуглас и не сводил глаз с теннисных туфель там, позади, в полуночной витрине.

— Хорошая была картина, — сказала мама.

— Ага, — буркнул Дуглас.

Стоял июнь, давно миновало то время, когда на лето покупают такие туфли, легкие и тихие, точно теплый дождь, что шуршит по тротуарам. Уже июнь, и земля полна первозданной силы, и все вокруг движется и растет. Трава и по сей день переливается сюда из лугов, омывает тротуары, подступает к домам. Кажется, город вот-вот черпнет бортом и покорно пойдет на дно, и в зеленом море трав не останется ни всплеска, ни ряби. Дуглас вдруг застыл, точно врос в мертвый асфальт и красный кирпич улицы, не в силах тронуться с места.

— Пап, — выпалил он. — Вон там, в окне, теннисные туфли…

Отец даже не обернулся.

— А зачем тебе новые туфли, скажи, пожалуйста? Можешь ты мне объяснить?

— Ну-у…

Да затем, что в них чувствуешь себя так, будто

впервые в это лето скинул башмаки и побежал босиком по траве. Точно в зимнюю ночь высунул ноги из-под теплого одеяла и подставил ветру, что дышит холодом в открытое окно, и они стынут, стынут, а потом втягиваешь их обратно под одеяло, и они совсем как сосульки… В теннисных туфлях чувствуешь себя так, будто впервые в это лето бредешь босиком по ленивому ручью и в прозрачной воде видишь, как твои ноги ступают по дну — будто они переломились и движутся чуть впереди тебя, потому что ведь в воде все видится не так…

— Пап, — сказал Дуглас, — это очень трудно объяснить.

Люди, которые мастерили теннисные туфли, откуда-то знают, чего хотят мальчишки и что им нужно. Они кладут в подметки чудо-траву, что делает дыханье легким, а под пятку — тугие пружины, а верх ткут из трав, отбеленных и обожженных солнцем в просторах степей. А где-то глубоко в мягком чреве туфель запрятаны тонкие, твердые мышцы оленя. Люди, которые мастерят эти туфли, верно, видели множество ветров, проносящихся в листве деревьев, и сотни рек, что устремляются в озера. И все это было в туфлях, и все это было — лето.

Дуглас попытался объяснить все отцу.

— Допустим, — сказал отец. — Но чем плохи твои прошлогодние туфли? Поройся в чулане, ты, конечно, найдешь их там.

Дугласу стало вдруг жалко мальчишек, которые живут в Калифорнии и ходят в теннисных туфлях круглый год; они ведь даже не знают, какое это чудо — сбросить с ног зиму, скинуть тяжеленные кожаные башмаки, полные снега и дождя, и с утра до ночи бегать, бегать босиком, а потом зашнуровать на себе первые в это лето новенькие теннисные туфли, в которых бегать еще лучше, чем босиком. Но туфли непременно должны быть новые — в этом все дело. К первому сентября волшебство, наверно, исчезнет, но сейчас, в конце июня, оно еще действует вовсю, и такие туфли все еще в силах помчать тебя над деревьями, над реками и домами. И если захочешь — они перенесут тебя через заборы, тротуары и упавшие деревья.

— Как же ты не понимаешь? — сказал Дуглас отцу. — Прошлогодние никак не годятся.

Ведь прошлогодние туфли уже мертвые внутри. Они хороши только одно лето, только когда их надеваешь впервые. Но к концу лета всегда оказывается, что на самом деле в них уже нельзя

перескочить через реки, деревья или дома, — они уже мертвые. А ведь сейчас опять настало новое лето, и, конечно, в новых туфлях он опять сможет делать все, что только пожелает.

Они поднялись на крыльцо и вошли в дом.

— Копи деньги, — посоветовал отец. — Месяца через полтора…

— Да ведь тогда лето кончится!

Погасили огонь. Том уснул, а Дуглас все смотрел на свои ноги — они белели под лунным светом, далеко, в конце кровати, свободные от тяжеленных башмаков: только теперь с них свалились эти гири — остатки зимы.

— Надо придумать, почему нужны новые. Надо что-то придумать.

Ну, во-первых, всякий знает, что на холмах, за городом полным-полно друзей — они распугивают коров, предсказывают перемену погоды, с утра до ночи жарятся на солнце, так что кожа лупится и они обдирают ее клочьями, словно листки календаря, и снова жарятся на солнце. Если хочешь их поймать, придется бегать быстрей всех белок и лисиц. А в городе полным-полно врагов, они злятся из-за жары и потому помнят все зимние споры и обиды. Ищи друзей, расшвыривай врагов! Вот девиз легких как пух волшебных туфель. Мир

бежит слишком быстро? Хочешь его догнать? Хочешь всегда быть проворней всех? Тогда заведи себе волшебные туфли! Туфли, легкие как пух!

Дуглас встряхнул свою копилку — в ней чуть звякнуло. Она была почти пустая.

Если тебе что-нибудь нужно, добивайся сам, подумал он. Ночью постараемся найти ту заветную тропку…

Огни внизу, в городе, гасли один за другим. В окно дунул ветер. Точно река течет — так бы пошел с нею…

Во сне он слышал, как в теплой густой траве бежит, бежит, бежит кролик.

Старый мистер Сэндерсон двигался по своей обувной лавке, точно по какому-то питомнику, где в конурках собраны со всего света собаки и кошки всевозможных пород; и на ходу он ласково гладил своих любимцев. Мистер Сэндерсон погладил каждую пару башмаков и туфель, выставленных в витрине, и одни казались ему собаками, другие кошками; он касался их заботливой рукой — где поправит шнурки, где вытянет язычок. Потом остановился на самой середине ковра, покрывавшего пол лавки, огляделся вокруг и с удовлетворением кивнул.

Вдалеке, нарастая, загремел гром.

Миг — и в дверях появился Дуглас Сполдинг. Он смущенно глядел вниз, на свои кожаные башмаки, точно они были такие тяжелые, что их никак не оторвешь от асфальта. Он остановился в дверях — и гром тотчас умолк. И вот, мучительно медленно, держа на ладони все свои сбережения и не решаясь поднять глаза, Дуглас шагнул из яркого полуденного света в лавку. Он осторожно разложил столбиками на прилавке медяки, монетки по десять и двадцать пять центов, словно шахматист, что ждет с тревогой — вознесет ли его следующий ход к вершинам торжества или погрузит в бездну отчаянья.

— Все ясно без слов, — сказал мистер Сэндерсон. Дуглас замер.

— Во-первых, я знаю, что ты хочешь купить, — продолжал мистер Сэндерсон. — Во-вторых, я каждый день вижу тебя у моей витрины. Ты думаешь, я ничего не замечаю? Ошибаешься. В-третьих, тебе нужны, называя их полным именем, «легкие, как пух, мягкие, как масло, прохладные, как мята» теннисные туфли. В-четвертых, у тебя не хватает денег, и тебе нужен кредит.

— Нет! — крикнул Дуглас, тяжело дыша, точно он бежал во сне всю ночь без отдыха. — Не надо мне кредита, я придумал кое-что получше, — вы-

дохнул он наконец. — Сейчас я объясню, только сперва, пожалуйста, скажите мне одну вещь, сэр, мистер Сэндерсон. Вы помните, когда вы сами в последний раз надевали такие туфли?

Старик помрачнел.

— Ну, лет десять назад или двадцать, может быть, даже тридцать… Почему это тебя интересует?

— Знаете что, мистер Сэндерсон, если по-честному, вам надо и самому хоть примерить ваши теннисные туфли. Ведь вы их людям продаете? Вот и примерьте хоть на минутку, сами увидите, каковы они на ноге. Если долго чего-нибудь не пробовать, поневоле забудешь, как это бывает. Ведь хозяин табачной лавочки курит, правда? И кондитер всегда, конечно, пробует свой товар. Вот я и думаю…

— Ты, верно, заметил, я тоже не босиком хожу, — сказал старик.

— Но не в теннисных туфлях, сэр! Как же вы их продаете, если не можете даже как следует их расхвалить? А как вам их расхваливать, если вы их толком и не знаете?

Дуглас говорил с таким жаром, что Сэндерсон даже попятился и в раздумье поскреб подбородок.

— Н-да-а, пожалуй…

— Мистер Сэндерсон, — сказал Дуглас, — вы мне продайте одну вещь, а я тоже продам вам кое-что очень полезное.

— Но неужели для этой сделки необходимо, чтобы я надел пару теннисных туфель, дружок?

— Это было бы очень хорошо, сэр!

Старик вздохнул. Через минуту он уже сидел на стуле и, тяжело дыша, зашнуровывал на своих узких длинных ногах теннисные туфли. Туфли казались чужими и неуместными рядом с темными обшлагами его пиджака. Наконец он встал.

— Ну, как вы себя в них чувствуете? — спросил мальчик.

— Как я себя чувствую? Отлично. — И он хотел снова сесть на стул.

— Нет, нет! — Дуглас умоляюще протянул руку. — Теперь, пожалуйста, покачайтесь немного с пяток на носки, попрыгайте, поскачите, что ли, а я вам все доскажу. Значит, так: я отдаю вам деньги, вы отдаете мне туфли. Я должен вам еще доллар. Но, как только я надену эти туфли, мистер Сэндерсон, как только я их надену, знаете, что случится?

— Что же?

— Хлоп! Я разношу вашим покупателям на дом

покупки, таскаю для вас всякие свертки, приношу вам кофе, убираю мусор, бегаю на почту, на телеграф, в библиотеку! Я буду летать взад и вперед, взад и вперед, десять раз в минуту! Вот вы теперь сами чувствуете, какие эти туфли, сэр, сами чувствуете, как быстро они будут меня носить! Ведь они на пружинах — чувствуете? Они сами бегут! Охватят ногу и уже не дают никакого покоя, им совсем не нравится стоять на одном месте. Вот я и буду делать для вас все, что вам не захочется делать самому, да знаете, как быстро! Вы сидите спокойно у себя в лавке, в холодке, а я буду носиться за вас по всему городу. Но ведь если по правде, это буду не я, это все туфли! Возьмут и помчатся по улицам как бешеные, раз-два — за угол, раз-два — обратно! Вот как!

Сэндерсона оглушило это красноречие. Поток слов захватил его и понес; он поглубже засунул ноги в туфли, пошевелил пальцами, повертел ступней, вытянул ногу в подъеме. В открытую дверь задувал ветерок, и мистер Сэндерсон тихонько покачивался, подставляя ноги под его свежее дуновение. Туфли неслышно тонули в мягком ковре, точно в бархатной траве джунглей, во вспаханном черноземе или в размокшей глине. Старик с серьезным видом привстал на

носки, оттолкнулся пятками, словно от пышного теста, от податливой мягкой земли. Все его ощущения отражались у него на лице, как будто быстро переключали разноцветные огни. Рот приоткрылся. Он еще немного покачался на носках — все медленнее, медленнее — и наконец застыл; голос мальчика тоже умолк, и в глубокой, многозначительной тишине они стояли и смотрели в глаза друг другу.

По тротуару под жарким солнцем шли мимо лавки редкие прохожие.

А старик и мальчик все стояли друг против друга, и лицо мальчика сияло, а старик, казалось, обдумывал некое неожиданное открытие.

— Послушай, — сказал он наконец. — Не хочешь ли лет эдак через пять продавать у меня тут ботинки?

— Спасибо, мистер Сэндерсон, только я и сам еще не знаю, что стану делать, когда вырасту.

— Что захочешь, сынок, то и станешь делать, — сказал старик. — Ты своего добьешься. И никто тебя не удержит.

Он легким шагом подошел к стене, где стояло, уж наверно, десять тысяч коробок с обувью, и вернулся к прилавку с туфлями для Дугласа. Потом он писал что-то на листке бумаги, а Дуглас в

это время надел туфли, завязал шнурки и теперь стоял и ждал.

Старик кончил писать и протянул ему листок.

— Вот тебе десяток поручений на сегодня. Когда все сделаешь, мы с тобой квиты и ты получаешь расчет.

— Спасибо, мистер Сэндерсон! — Дуглас кинулся прочь из лавки.

— Постой! — закричал старик.

Дуглас остановился и обернулся к нему.

— Ну, как туфли? — с интересом спросил старик. Дуглас поглядел на свои ноги — они были уже далеко, на берегу реки, среди пшеничных полей, на ветру, что гнал его из города. Потом вскинул голову и посмотрел на старика; глаза его горели, губы шевелились, но с них не слетело ни звука.

— Антилопы? — Старик перевел взгляд с лица мальчика на туфли. — Газели?

Дуглас подумал, помолчал в нерешительности и торопливо кивнул. И — исчез. Шепнул что-то, круто повернулся и исчез. Дверь — настежь, на пороге — никого. Быстрый шорох теннисных туфель растаял в тропическом зное.

Мистер Сэндерсон стоял в дверях, ослепленный солнцем, и прислушивался. С давних-давних пор,

когда его еще одолевали мальчишеские мечты, он помнил этот звук. Под небом мелькали чудесные создания, скользили под деревьями и в кустах, убегали все дальше, и оставалось лишь еле слышное эхо…

— Антилопы, — повторил Сэндерсон. — Газели… Он нагнулся и поднял с пола брошенные зимние башмаки Дугласа, отяжелевшие от уже забытых дождей и давно растаявших снегов. Потом отошел в тень, подальше от слепящих лучей солнца, и неторопливо, мягко и легко ступая, направился назад, к цивилизации…

Он вынул пятицентовый блокнот в желтом переплете. Вынул желтый карандаш фирмы Тайкондерога. Открыл блокнот. Лизнул карандаш.

— Знаешь, Том, мне понравилось, как ты все считаешь, — сказал он. — Теперь и я буду так делать, все записывать. Вот ты, верно, про это и не думал, а мы ведь каждое лето опять и опять, снова-здорово делаем то же самое, что делали прошлым летом.

— Например, Дуг?

— Ну, например, делаем вино из одуванчиков, покупаем теннисные туфли, пускаем первый фейерверк, делаем лимонад, вытаскиваем из ног занозы, собираем дикий виноград. Каждый год

одно и то же, в точности как раньше, и никаких перемен, никакой разницы. Но это только одна половина лета, Том.

— А другая?

— Другая — то, что мы делаем первый раз в жизни.

— Например, едим оливки?

— Нет уж, кое-что поважнее. Ну, как если мы вдруг увидим, что папа и дедушка не все на свете знают.

— Пожалуйста, не выдумывай! Они знают все, что только можно знать!

— Не спорь, Том. Я уже записал это в «Открытия и откровения». Они знают не все. Но тут нет ничего страшного. Я и это открыл.

— Какую еще ерунду ты там записал?

— Что я живой.

— Вот еще, Америку открыл! Давно известно.

— Нет, я про это думаю, я это замечаю — вот что ново. Сперва живешь, живешь, ходишь, делаешь что-нибудь, а сам даже не замечаешь. И потом вдруг увидишь: ага, я живу, хожу или там дышу — вот это и есть по-настоящему в первый раз. Теперь я разделю лето на две половины. Первая в моем блокноте называется «Обряды и обыкновенности». Первый раз в этом году пил

шипучку. Первый раз в этом году бегал босиком по траве. Первый раз в этом году чуть не утонул в озере. Первый арбуз. Первый москит. Первый сбор одуванчиков. Все это бывает из года в год, и мы про это никогда не думаем. А вторая половина блокнота — «Открытия и откровения». Или даже лучше назвать «Озарения» — вот отличное слово, правда? Или, может, «Ощущения»? В общем, когда делаешь что-нибудь старое, давно известное, ну хоть разливаешь в бутылки вино из одуванчиков, это, конечно, надо записать в «Обряды и обыкновенности». А потом про это подумаешь — и уж тут все мысли, какие придут в голову, все равно, умные или глупые, надо записать в «Открытия и откровения». Вот, слушай, что я записал про это вино:

«Каждый раз, когда мы разольем его по бутылкам, у нас остается в целости и сохранности кусок лета двадцать восьмого года». Ну, что скажешь?

— Я уже давным-давно не понимаю, что ты такое говоришь, — сказал Том.

— Ну гляди, вот я еще записал. В «Обрядах и обыкновенностях» у меня стоит так: «Первый раз спорил с папой и получил первую трепку летом 1928 года, утром 24 июня». А в «Открытиях и откровениях» у меня про это так:

«Взрослые и дети — два разных народа, вот почему они всегда воюют между собой. Смотрите, они совсем не такие, как мы. Смотрите, мы совсем не такие, как они. Разные народы — „и друг друга они не поймут“»[1]. Вот, мотай себе на ус, Том.

— Верно, Дуг, в самую точку! Ясно, именно так! Поэтому-то мы никак не можем поладить с папой и мамой. Вечно одни неприятности с утра до ночи! Дуг, ты просто гений!

— Значит, так: увидишь за эти три месяца что-нибудь, что мы делаем опять и опять, — тут же скажи мне. Потом подумай про это — и тоже скажи мне. А в День труда[2] мы все это прочитаем и посмотрим, что у нас получится за лето.

— А я тебе прямо сейчас скажу кое-что. Бери карандаш, Дуг. На свете пять миллиардов деревьев. Я это вычитал в книжке. И под каждым деревом есть тень, верно? Значит, откуда берется ночь? А вот откуда: пять миллиардов деревьев — и из-под каждого дерева выползает тень. Представляешь? Вот бы найти способ удержать их все под деревьями и не выпускать — тогда и спать ложиться незачем, ведь ночи-то и не было бы вовсе! Вот

---

**[1] Примечания: 1**
Слова из баллады Киплинга. (Здесь и далее прим. пер.)

**[2] Примечания: 2**
Празднуется в Америке в первый понедельник сентября.

тебе и выходит: немножко старого и немножко нового.

— Все правильно, тут есть и старое и новое. — Дуглас лизнул желтый карандаш Тайкондерога (ему ужасно нравилось это название). — Ну-ка, скажи все это еще разок…

— На свете пять миллиардов деревьев, и под каждым деревом лежит тень…

Да, лето состоит из привычных обрядов, для каждого есть свое привычное время и свое привычное место. Обряд приготовления лимонада или замороженного чая, обряд вина, туфель или босых ног и, наконец, очень скоро, еще один, полный спокойного достоинства обряд: на веранде вешают качели.

На третий день лета, под вечер, дедушка выходит на веранду и принимается невозмутимо разглядывать два пустых кольца, свисающих с потолка. Неторопливо подходит к перилам, уставленным горшками с геранью, точно Ахав, который испытующим взглядом встречает ясный тихий день и ясное небо; потом облизывает палец и подставляет его ветру, снимает пиджак — надо же убедиться, не холодно ли на закате в одной рубашке. Потом издали здоровается с соседями — те тоже выходят на уставленные цветами веранды,

чтобы насладиться теплым летним вечером; они даже не слышат, как чирикают за стеной или тявкают, точно болонки, их жены.

— Что ж, Дуглас, давай вешать. Они отыскивают в гараже качели, стирают с них пыль, выносят на веранду, и дедушка подвешивает их к кольцам в потолке, точно водружает парадное седло на слона для торжественного и тихого праздника летних вечеров.

Дуглас легче деда, он первым садится на качели. А потом и солидный дедушка осторожно пристраивается рядом. И они, улыбаясь и кивая друг другу, молча раскачиваются взад и вперед, взад и вперед…

Минут через десять на веранду выходит бабушка с полными ведрами и швабрами, подметает и моет веранду. Из дома выносят легкие стулья, качалки и шезлонги.

— Люблю выбираться на веранду пораньше, — говорит дедушка. — Пока еще не так много москитов.

Часов в семь раздается легкий скрип — от столов отодвигают стулья, а если постоять под окном столовой, услышишь, как там бренчат на разбитом фортепьяно с пожелтевшими от старости клавишами. Чиркают спички, булькает вода

— во всех кухнях моют посуду, со звоном ставят тарелки сушить на полку. А потом понемногу на сумеречных улицах под огромными дубами и вязами оживает дом за домом, на тенистые веранды выходят люди, точно фигурки на часах с барометром, предсказывающие погоду.

Вот появляется дядя Берт, а то и дедушка, потом отец и еще кто-нибудь из родных; женщины еще переговариваются в остывающей кухне, мужчины первыми выходят в сладостную тишь вечера, попыхивая сигаретами, и наводят порядок в своем собственном мире. На веранде зазвучат мужские голоса; мужчины расположатся поудобнее, задрав ноги повыше, а мальчишки, точно воробьи, усядутся рядком на стертых ступеньках или на деревянных перилах, и оттуда за вечер уж непременно что-нибудь свалится — либо мальчишка, либо горшок с геранью.

И наконец за дверью на веранде вдруг возникнут, точно привидения, бабушка, прабабушка и мама, и тогда мужчины зашевелятся, встанут и придвинут им стулья и качалки. Женщины принесут с собой всевозможные веера, сложенные газеты, бамбуковые метелочки или надушенные носовые платки и за разговором будут ими обмахиваться.

Они болтают без умолку целый вечер, а о чем — назавтра никто уже и не вспомнит. Да никому и не важно, о чем говорят взрослые; важно только, что звук их голосов то нарастает, то замирает над тонкими папоротниками, окаймляющими веранду с трех сторон; важно, что город понемногу наполняется тьмой, как будто черная вода льется на дома с неба, и в этой тьме алыми точками мерцают огоньки, и журчат, журчат голоса. Женщины сплетничают и отмахиваются от первых москитов, и те начинают в воздухе свою неистовую пляску. Мужские голоса проникают в старое дерево домов; если закрыть глаза и прижаться головой к доскам пола, слышно, как рокочут голоса мужчин, точно отдаленное землетрясение, оно не прекращается ни на миг, только слышится то чуть тише, то погромче.

Дуглас растянулся на сухих досках веранды, счастливый и умиротворенный, — голоса эти никогда не умолкнут, они будут вечно обволакивать говорливым потоком его тело, его сомкнутые веки, вливаться в сонные уши. Качалки потрескивают, как сверчки, сверчки стрекочут, как качалки, а поросшая мхом бочка для дождевой воды под окном столовой рождает все новые поколения москитов и дает тему для разговора

еще на множество лет.

Как хорошо летним вечером сидеть на веранде; как легко и спокойно; вот если бы этот вечер никогда не кончался! Это — вечные, надежные обряды; всегда, до скончания века будут вспыхивать трубки курильщиков, в полутьме будут мелькать бледные руки и в них — вязальные спицы, будет шуршать серебряная обертка мороженого, кто-нибудь все время будет приходить и уходить. Потому что за вечер непременно кто-нибудь придет — из соседних домов или те, кто живет на другой стороне улицы; проедут на своем маленьком жужжащем автомобильчике мисс Ферн и мисс Роберта, иногда они захватят Тома или Дугласа прокатиться вокруг дома, а возвращаясь, посидят на веранде, обмахивая веером пылающие щеки; или мистер Джонас, старьевщик, поставит свой фургон с лошадью где-нибудь под деревьями и впопыхах поднимется по ступенькам — сразу видно, ему не терпится рассказать что-то новенькое, еще не слышанное, и, как ни странно, это и правда бывает что-нибудь новое. И наконец, дети — они бегают где-то в темноте, напоследок играют в прятки или в мяч, а потом, когда уже вовсе ничего не разглядеть, запыхавшись, с разгоревшимися лицами, точ-

но бумеранги, неслышно возвращаются к дому по бархатной лужайке и затихают под мерное журчанье на веранде, и голоса журчат, журчат, баюкают их и усыпляют…

Как чудесно лежать в ночи папоротников, трав, в ночи негромких сонных голосов, все они шелестят, и сплетаются, и из них соткана тьма. Взрослые давно о нем забыли — ведь он притаился, лежит тихий как мышонок, слушает, как они строят планы для него и для себя тоже. И голоса их замирают, плывут с освещенным луной табачным дымком, а мотыльки, точно оживший поздний яблоневый цвет, тихонько стучатся в далекие уличные фонари, и голоса уплывают и льются в грядущие годы…

В тот вечер мужчины собрались перед табачной лавкой и принялись сжигать дирижабли, топить боевые корабли, взрывать пороховые заводы — словом, смаковать хрупкими ртами те самые бактерии, которые в один прекрасный день их убьют. Смертоносные тучи вспухали в дыму их сигар и окутывали взволнованного человека, которого почти нельзя было разглядеть сквозь этот дым; он прислушивался к стуку заступов в их речах, словно различал в них пророческое «ибо прах ты и в прах возвратишься». Это был Лео

Ауфман, городской ювелир; наконец он широко раскрыл блестящие черные глаза, вскинул худые, точно детские, руки и в ужасе закричал:

— Перестаньте! Ради бога, прекратите эти похоронные марши!

— Вы правы, Лео, — сказал ему дедушка Сполдинг; он как раз проходил мимо со своими внуками Дугласом и Томом, возвращаясь с обычной вечерней прогулки. — Они каркают как вороны и вещают недоброе, но кто же заткнет им рты? Изобретите что-нибудь, попробуйте сделать будущее ярче, веселее, отраднее. Ведь вы мастерили велосипеды, чинили автоматы в Галерее, были даже киномехаником, правда?

— Верно! — подхватил Дуглас. — Смастерите для нас Машину счастья! — Все засмеялись.

— Не смейтесь, — сказал Лео Ауфман. — Для чего мы до сих пор пользовались машинами? Только чтоб заставить людей плакать. Всякий раз, когда казалось, что человек и машина вот-вот наконец уживутся друг с другом, — бац! Кто-то где-то смошенничает, приделает какой-нибудь лишний винтик — и вот уже самолеты бросают на нас бомбы и автомобили срываются со скал в пропасть. Отчего же мальчику не попросить Машину счастья? Он совершенно прав!

Лео Ауфман умолк, подошел к краю тротуара и погладил свой велосипед, словно собаку или кошку.

— Что мне терять? — бормотал он. — Наживу еще несколько мозолей на руках, потрачу еще несколько фунтов железа да немного меньше посплю. Решено, я ее сделаю, клянусь, я ее сделаю!

— Лео, — сказал дедушка, — мы вовсе не хотели… — Но Лео Ауфман был уже далеко; изо всех сил нажимая на педали велосипеда, он мчался в теплый летний вечер, и лишь издали донесся его голос:

— Я ее сделаю… сделаю…

— А знаешь, — почтительно сказал Том, — он и правда сделает, вот увидишь.

Посмотришь, как Лео Ауфман катит на своем велосипеде по вечерней каменистой улице, круто сбегающей с холма, — и сразу понятно, что этому человеку все вокруг по душе: как шуршит в нагретой солнцем траве чертополох, когда ветер пышет жаром в лицо, словно из раскаленной печи, и как звенят под дождем электрические провода. Он был не из тех, для кого бессонная ночь — мученье, напротив, когда не спалось, он лежал и вволю предавался размышлениям: как работает гигантский часовой механизм вселен-

ной? Кончается ли завод в этих исполинских часах или им предстоит отсчитывать еще долгие, долгие тысячелетия? Кто знает! Но бесконечными ночами, прислушиваясь к темноте, он то решал, что конец близок, то — что это только начало…

Главные потрясения и повороты жизни — в чем они? — думал он сейчас, крутя педали велосипеда. Рождаешься на свет, растешь, стареешь, умираешь. Рождение от тебя не зависит. Но зрелость, старость, смерть — может быть, с этим можно что-нибудь сделать?

В голове у него, сверкая легкими золотыми спицами, вертелись колеса его Машины счастья. Это должна быть машина, которая поможет мальчишкам персиковый пушок на щеках сменить на мужественную щетину, а девчонкам — превратиться из нескладных гусениц в ярких бабочек. И в зрелые годы, когда счет ударам сердца идет уже на миллиарды, когда лежишь ночью в постели и только тревожный дух твой скитается по земле, эта машина утолит тревогу, и человек сможет мирно дремать вместе с палыми листьями, как засыпают осенью мальчишки, растянувшись на копне душистого сухого сена и безмятежно сливаясь с уходящим на покой миром…

— Папа!

По лужайке ему навстречу бежали дети, все шестеро:

Саул, Маршалл, Джозеф, Ребекка, Рут и Ноэми, — младшему было пять, старшему пятнадцать; каждому хотелось взять у отца велосипед, каждый спешил коснуться его руки.

— Мы тебя ждали! У нас сегодня мороженое! — Лео двинулся к веранде, чувствуя невидимую в темноте улыбку жены.

Пять минут прошло в блаженном молчании — все рты были заняты; потом Лео поднял вверх ложку серебристого мороженого, точно в нем и заключалась тайна вселенной и касаться ее следовало очень осторожно, и спросил:

— Лина, что ты скажешь, если я попробую изобрести Машину счастья?

— Что-нибудь случилось? — тотчас спросила жена.

Дедушка вел Дугласа и Тома домой. На полпути мимо роем метеоров пронеслась орава мальчишек, и среди них Чарли Вудмен и Джон Хаф: сила их притяжения была так велика, что они оторвали Дугласа от Тома и дедушки и увлекли за собой к оврагу.

— Не заблудись, внучек!

— Нет, нет, дедушка, не заблужусь!

И мальчики скрылись в темноте.

А дедушка с Томом прошли весь остальной путь до дома в молчании и, только когда они уже вошли в калитку, Том сказал:

— Надо же — Машина счастья! Вот здорово!

— Не пыхти, — сказал дедушка. Часы на здании суда пробили восемь.

Часы на здании суда пробили девять; становилось поздно, — в сущности, на этой скромной улочке маленького городка в большом штате огромного континента на планете Земля, мчащейся в пропасть вселенной, в никуда или куда-нибудь, была уже ночь, и Том ощущал каждую милю этого бесконечного и стремительного падения. Он сидел у двери веранды и сквозь мелкую сетку от москитов глядел на стремительную тьму, у которой был самый невинный вид, как будто она вовсе и не движется. Только если лечь и закрыть глаза, чувствуешь, как под твоей постелью вертится земной шар и темное море оглушает тебя, подступая и разбиваясь о незримые рифы.

Пахло дождем. В доме мама гладила белье и сквозь пробку брызгала водой из бутылочки на похрустывающее сухое полотно.

А одна лавка за квартал отсюда была еще от-

крыта — лавка миссис Сингер.

И наконец, когда миссис Сингер, верно, совсем уже собралась закрывать, мама сжалилась и сказала Тому:

— Сбегай, возьми пинту мороженого да присмотри, чтобы она поплотней его набила.

— А можно ее попросить, пускай сверху польет мороженое шоколадом, а то он не любит ванили, — спросил Том. И мама позволила. Он зажал деньги в кулаке и как был босиком побежал по теплому вечернему асфальту тротуара, под яблонями и дубами. Город стоял тихий и далекий, слышно было лишь стрекотанье сверчков где-то за жаркими иссиня-фиолетовыми деревьями, что заслоняют звезды.

Шлепая босыми пятками по асфальту, он перебежал улицу. Миссис Сингер важно расхаживала по своей лавке, напевая еврейскую песенку.

— Пинту мороженого? — переспросила она. — И полить шоколадом? Хорошо!

Том смотрел, как она отвинчивает металлическую крышку мороженицы, как вертит большой круглой ложкой, плотно набивает пинтовую картонку и поливает: «Шоколадом? Хорошо!» Он отдал деньги, взял ледяной пакет, потерся об него лбом и щекой, засмеялся и — шлеп-шлеп босыми

ногами — побежал домой. Позади в лавке миссис Сингер мигнул и погас одинокий огонек, теперь мерцал лишь фонарь на углу улицы — казалось, весь город погружается в сон.

Том распахнул затянутую сеткой от москитов дверь веранды: мама все еще гладила. Видно, ей было очень жарко и она была чем-то недовольна, но все-таки улыбнулась ему.

— Когда папа вернется со своего собрания? — спросил Том.

— Часов в одиннадцать, а то и позже, — ответила мама, унесла мороженое в кухню и поделила его. Дала Тому побольше шоколада, немного взяла себе, а остальное убрала. — Это Дугласу и отцу, когда вернутся, — пояснила она.

Так они сидели, наслаждаясь мороженым, окутанные глубокой тишиной летнего вечера. Только вдвоем — мама и он, и вокруг них, вокруг их домика и улочки — ночь. Том старательно облизывал ложку, прежде чем набрать следующую; мама отодвинула гладильную доску, отставила утюг, и он понемногу остывал, а она сидела в кресле у патефона, ела мороженое и говорила:

— Ну и денек выдался, вот жарища-то! Земля целый день впитывает в себя зной, а вечером опять его отдает. Душно будет спать!

Они прислушивались к ночи, ощущая, как она подступает ко всем окнам и дверям и как давит тишина, потому что в приемнике сели батареи, а все пластинки играны-переиграны уже тысячу раз и надоели до смерти; и Том просто сидел на деревянном полу и смотрел в черную-черную черноту, прижимаясь лицом к сетке двери так, что на кончике носа отпечатались маленькие темные квадратики.

— Где же это Дуг? Уже почти половина десятого.

— Придет, — сказал Том.

Уж конечно, Дуглас придет.

Мама пошла мыть посуду, и Том отправился за ней. Каждый звук, звон ложки или тарелки гулко раздавался в знойном вечернем воздухе. Потом они молча пошли в большую комнату, сняли с дивана подушки, вдвоем раскрыли его и разложили — ведь на самом деле это был вовсе не диван, а широченная кровать. Мама постелила им с Дугласом постель, ловко взбила подушки, Том начал было расстегивать рубашку, но она сказала:

— Погоди минутку, Том.

— Почему?

— Надо.

— Ты какая-то чудная, мам.

Она опустилась на стул, но сразу же встала, подошла к двери и позвала. Она звала снова и снова: «Дуглас! Дуг! Ду-уг!» Ее голос уплывал в душную тьму и тонул в ней без всякого отклика. Даже эхо не отвечало.

— Дуглас! Дуглас! Дуглас! Ду-у-у-гла-а-ас!

Том сидел на полу, и его пронизывал холод, но виной тому было не мороженое, и не зима, и не летний зной. Он видел — мама то растерянно озирается, то закрывает глаза, стоит и не знает, что делать, и очень волнуется. Да, сразу видно — растеряна и волнуется.

Она открыла дверь веранды. Шагнула в темноту, спустилась по ступенькам, прошла по дорожке под кусты сирени. Том прислушивался к ее шагам.

Она опять позвала.

Молчание.

Она позвала еще два раза. Том все сидел в комнате. Вот сейчас с длинной-длинной узкой улицы донесется голос Дугласа: «Иду, мам! Не беспокойся, я иду!»

Но Дуглас не отвечал. Том долгие две минуты сидел, глядя на раскрытую постель, на молчащее радио и молчащий патефон, на люстру, где как

ни в чем не бывало поблескивали стеклянные висюльки, на ковер, расписанный пунцовыми и фиолетовыми завитушками. Потом нарочно стукнул ногой о кровать, чтобы поглядеть, будет ли больно. Оказалось — больно.

Дверь веранды со скрипом отворилась, и мама сказала.

— Пойдем, Том. Пройдемся.

— Куда?

— Просто по улице. Идем.

Он взял ее за руку. Они пошли по Сент-Джеймс-стрит. Асфальт под ногами был все еще теплый, сверчки стрекотали громче прежнего в сгущавшейся тьме. Они дошли до угла, свернули и двинулись по направлению к Западному оврагу.

Где-то проплыл автомобиль, сверкнул вдали фарами. На улицах никаких признаков жизни — ни света, ни движения. Кое-где позади мерцали слабо освещенные квадраты окон — в той стороне, откуда они шли, не все еще легли спать. Но очень, очень многие дома уже стояли без огней и спали, а перед некоторыми, тоже темными, на крылечках сидели их обитатели и вполголоса вели вечернюю беседу. Кое-где на верандах поскрипывали качели.

— Хоть бы отец был дома, — сказала мама. Она

сжимала в своей большой руке руку Тома. — Ну постой, дай мне только добраться до этого мальчишки! Душегуб опять вышел на охоту. Он убивает людей. Всем грозит опасность. Никто не знает, где и когда он вдруг появится. Вот клянусь, пусть только Дуг придет домой, я его так отколочу, век будет помнить.

Они прошли еще квартал и теперь стояли перед черным силуэтом немецкой баптистской церкви на углу Чепел-стрит и Глен Рок. В сотне шагов за церковью начинался овраг. Том уже чуял его: оттуда тянуло канализационной трубой, сгнившими листьями, душным и влажным запахом сплошных зеленых зарослей. Овраг был широкий, извилистый, он перерезал город, и мама всегда говорила, что это и днем-то непроходимые дебри, а уж ночью к нему лучше и близко не подходить.

Оттого что рядом церковь, страхи должны бы рассеяться, но Тому все равно было жутко: в этот час, темная, без единого огонька, она казалась холодной и бесполезной развалиной на краю оврага.

Тому было всего десять лет. Он ничего толком не знал о смерти, страхе, ужасе. Смерть — это восковая кукла в ящике, он видел ее в шесть

лет: тогда умер его прадедушка и лежал в гробу, точно огромный упавший ястреб, безмолвный и далекий, — никогда больше он не скажет, что надо быть хорошим мальчиком, никогда больше не будет спорить о политике. Смерть — это его маленькая сестренка: однажды утром (ему было в то время семь лет) он проснулся, заглянул в ее колыбельку, а она смотрит прямо на него застывшими, слепыми синими глазами… а потом пришли люди и унесли ее в маленькой плетеной корзинке. Смерть — это когда он месяц спустя стоял возле ее высокого стульчика и вдруг понял, что она никогда больше не будет тут сидеть, не будет смеяться или плакать и ему уже не будет досадно, что она родилась на свет. Это и была смерть. И еще смерть — это Душегуб, который подкрадывается невидимкой, и прячется за деревьями, и бродит по округе, и выжидает, и раз или два в год приходит сюда, в этот город, на эти улицы, где вечерами всегда темно, чтобы убить женщину; за последние три года он убил трех. Это смерть…

Но сейчас тут не просто смерть. В этой летней ночи под далекими звездами на него разом нахлынуло все, что он испытал, видел и слышал за всю свою жизнь, и он захлебывался и тонул.

Они сошли с тротуара и зашагали по протоптанной, усыпанной щебнем тропинке — по обе стороны густо росла сорная трава, и в ней громко, неумолчно трещали сверчки. Том послушно шел за матерью — большой, храброй, прекрасной, его защитницей от всего света. Так вдвоем они шли и шли — и вот остановились на самом краю цивилизации.

Овраг.

Здесь, в этой пропасти посреди черной чащобы, вдруг сосредоточилось все, чего он никогда не узнает и не поймет; все, что живет, безыменное, в непроглядной тени деревьев, в удушливом запахе гниения…

А ведь они с матерью здесь совсем одни.

И ее рука дрожит!

Да, дрожит, ему не почудилось… Но отчего? Мама ведь больше, сильнее, умнее его? Неужели и она тоже чувствует эту неуловимую угрозу, то зловещее, что затаилось там, внизу, и сейчас выползет из темноты? Значит, можно вырасти и все равно не стать сильным? Значит, стать взрослым вовсе не утешение? Значит, в жизни нет прибежища? Нет такой надежной цитадели, что устояла бы против надвигающихся ужасов ночи? Сомнения разрывали его. Мороженое вновь обо-

жгло ему холодом горло, все внутри похолодело, по спине пошел мороз, оледенели руки и ноги; ему вдруг стало очень зябко, точно вновь налетел из прошлого декабрьский ветер.

Так вот оно что! Значит, это участь всех людей, каждый человек для себя — один-единственный на свете. Один-единственный, сам по себе среди великого множества других людей, и всегда боится. Вот как сейчас. Ну закричишь, станешь звать на помощь — кому какое дело?

Тьма поглотит в одно мгновенье; одно чудовищное, леденящее мгновенье — и все кончено. Еще задолго до рассвета, задолго до того, как полицейские начнут прощупывать своими фонариками темную, растревоженную тропинку и на ней зашуршит щебень под ногами людей, которые в смятении кинутся на помощь. И даже если они сейчас только в пятистах шагах от тебя, а уж наверно так оно и есть, темный прибой может захлестнуть за три секунды и отнять у тебя все твои десять лет, и…

Жизнь — это одиночество. Внезапное открытие обрушилось на Тома как сокрушительный удар, и он задрожал. Мама тоже одинока. В эту минуту ей нечего надеяться ни на святость брака, ни на защиту любящей семьи, ни на конституцию

Соединенных Штатов, ни на полицию; ей не к кому обратиться, кроме собственного сердца, а в сердце своем она найдет лишь неодолимое отвращение и страх. В эту минуту перед каждым стоит своя, только своя задача, и каждый должен сам ее решить. Ты совсем один, пойми это раз и навсегда.

Том проглотил комок, застрявший в горле, и прижался к матери. Господи, не дай ей умереть, молил он. Не делай нам ничего плохого. Папа придет с собрания через час, и если дома никого не будет…

Мать двинулась по тропинке в дикую чащу.

— Мам, ты за Дуга не бойся, — дрожащим голосом сказал Том. — С ним ничего не случилось. Ты за него не бойся, с ним ничего не случилось.

— Он всегда возвращается этим путем. — Голос матери звенел от напряжения. — Я сто раз говорила ему — ходи другой дорогой, но эти проклятые мальчишки все равно лезут напролом. Когда-нибудь он пойдет туда и больше не вернется.

БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНЕТСЯ. Это может означать что угодно. Бродяги. Преступники. Тьма. Несчастный случай. А главное — смерть!

Один во всей вселенной.

На свете миллион таких городишек. И в каж-

дом так же темно, так же одиноко, каждый так же от всего отрешен, в каждом — свои ужасы и свои тайны. Пронзительные, заунывные звуки скрипки — вот музыка этих городишек без света, но со множеством теней. А какое необъятное, непомерное одиночество! А неведомые овраги, что засасывают, как трясина! Жизнь в этих городишках по ночам оборачивается леденящим ужасом: разуму, семье, детям, счастью со всех сторон грозит чудище, имя которому Смерть.

Мать снова громко позвала в темноту:

— Дуглас! Дуг!

И вдруг оба почувствовали — что-то случилось.

Сверчки умолкли.

Стало совсем тихо.

Он и не знал, что бывает такая тишина. Беспредельная, бездыханная тишина. Отчего замолчали сверчки? Отчего? Какая этому причина? Прежде они никогда не умолкали. Никогда.

Значит… Значит…

Сейчас что-то случится.

Казалось, овраг напрягает свои черные мышцы, вбирает в себя все силы спящих городков и ферм на многие мили вокруг. Великая тишина пропитанных росой лесов, и долин, и накатывающихся

как прибой холмов, где собаки, задрав морды, воют на луну, вся собиралась, стекалась, стягивалась в одну точку, и в самом сердце тишины были они — мама и Том. Вот сейчас, сию минуту что-то случится, что-то случится. Сверчки все молчат, звезды опустились так низко, что, кажется протяни руку — и на пальцах останется позолота. Их не счесть, звезд, они жаркие, колючие…

Все растет, разбухает тишина. Все острей, напряженней ожидание. Ох, как темно, пустынно, как бесприютно!

И вдруг далеко-далеко за оврагом — голос:

— Я здесь, мам! Иду, мама! И снова:

— Мам, а мам! Иду!

Шлеп-шлеп-шлеп мчатся ноги в теннисных туфлях по дну оврага: с хохотом несутся трое мальчишек — брат Дуглас, Чарли Вудмен и Джон Хаф. Бегут, хохочут…

Звезды взвились вверх, точно десять миллионов ужаленных улиток втянули свои рожки.

Сверчки застрекотали.

Темнота отступала, испуганная, ошарашенная, злобная. Отступила, потеряв аппетит, — ведь она совсем уже собралась поживиться, и вдруг ей так грубо помешали. И когда темнота отхлынула, точно волна во время отлива, из нее возникли,

смеясь, трое мальчишек.

— Мам! Том! Привет!

И сразу вокруг запахло Дугласом. Ведь от него всегда пахнет потом, травой, деревьями, ветвями и ручьем.

— Вам предстоит порка, молодой человек, — объявила мама. От ее страхов и следа не осталось. Том знал — она никогда в жизни никому про это не расскажет, никогда. Но страх этот навсегда останется у нее в душе, и в душе Тома тоже.

Темной летней ночью они шли домой, спать. Как хорошо, что Дуглас живой! Как хорошо! А на одну секунду там, на краю оврага, ему подумалось…

Где-то далеко, по смутному, озаренному луной лесу над виадуком, потом внизу, по долине, прогрохотал поезд, он отчаянно свистел, точно безыменный железный зверь заблудился в ночи. Том улегся в постель рядом с братом; весь дрожа, он прислушивался к этому свисту и думал: далеко-далеко, там, где сейчас мчится поезд, жил их двоюродный брат — и умер от воспаления легких много лет назад, вот в такую же ночь…

Дуглас лежал рядом, от него пахло потом. И это было как волшебство.

Том перестал дрожать.

— Только две вещи я знаю наверняка, Дуг, — прошептал он.

— Какие?

— Одна — что ночью ужасно темно.

— А другая?

— Если мистер Ауфман когда-нибудь в самом деле построит Машину счастья, с оврагом ей все равно не совладать.

Дуглас немного подумал.

— Повтори, что ты сказал.

Они умолкли: на улице внезапно раздались шаги — ближе, ближе, вот они уже под деревьями, возле дома, на тротуаре. Мама со своей кровати негромко сказала:

— Папа идет. — И не ошиблась.

Поздно вечером на веранде сидел Лео Ауфман и что-то писал в темноте — бумагу и ту толком нельзя было разглядеть. Время от времени он восклицал: «Ага!» или «И это тоже!» — значит, ему в голову приходило еще что-нибудь подходящее для его списка. Потом дверь чуть стукнула, точно в сетку от москитов ударилась ночная бабочка.

— Лина? — шепнул Ауфман.

Она села рядом с ним на качели, в одной ночной сорочке, не тоненькая, как семнадцатилетняя девочка, которую еще не любят, и не толстая,

как пятидесятилетняя женщина, которую уже не любят, но складная и крепкая, именно такая, как надо, — таковы женщины во всяком возрасте, если они любимы.

Она была удивительная. Ее тело, как и его собственное, всегда думало за нее, только по-другому: оно вынашивало детей или входило впереди Лео в каждую комнату чтобы неуловимо изменить там самый воздух под стать настроению мужа. Казалось, она никогда не задумывается надолго; мысль тотчас передавалась от ее головы плечам, пальцам и претворялась в действие так незаметно и естественно, что Лео не смог бы, да и не хотел изобразить это какими-либо чертежами.

— Эта Машина… — сказала она наконец. — Не нужна она нам.

— Да, — отозвался он, — но иногда нужно позаботиться и о других. Я вот все думаю, что туда вставить? Кинокартины? Радиоприемники? Стереоскопические очки? Если собрать все это вместе, всякий человек пощупает, улыбнется и скажет: «Да, да, это и есть счастье».

Сочинить такую хитрую механику, думал он, что пускай у человека промокли ноги, или ноет язва, или его мучает бессонница и он ворочается в постели всю ночь напролет, и душу его грызут

заботы, а все равно твоя Машина даст ему счастье, как та магическая крупинка соли, что брошена в океан и вечно рождает соль и обратила все море в соляной раствор. Кто не расшибся бы в лепешку, лишь бы изобрести такую Машину? Пусть ему ответит на этот вопрос целый мир, пусть ответит весь городок, пусть ответит жена!

Лина смущенно молчала, сидя рядом с ним на качелях, и ее молчание говорило яснее всяких слов.

Лео тоже умолк, запрокинул голову и слушал, как свищет ветер в густой листве могучего вяза.

«Не забывай, — говорил он себе, — и этот шелест листьев тоже нужен для твоей Машины».

Через минуту веранда опустела, пустые качели неподвижно повисли в темноте.

Дедушка улыбнулся во сне.

Он почувствовал эту улыбку, удивился ей — и проснулся. Полежал немного, прислушался к себе — и понял, откуда она взялась.

Ибо он услышал нечто гораздо более важное, нежели пение птиц или шелест молодой листвы. Каждый год наступал день, когда он вот так просыпался и ждал этого звука, который означал, что теперь-то уж лето началось по-настоящему. Оно начиналось вот в такое утро, когда кто-ни-

будь из домочадцев или гостей, племянник, сын или внук, выходил на лужайку под его окном и металлические ножи и спицы, кружа и звеня по душистой летней траве, прилежно обегали ее по краям — на север, на восток, на юг, на запад, описывая все меньшие и меньшие квадраты. Косилка звонко стрекотала, из-под ножей брызгали головки клевера, редкие золотые искры уцелевших после сбора одуванчиков, муравьи, палочки, камешки, остатки прошлогоднего празднования Четвертого июля — обгорелые шутихи и кусочки трута, но главное — за ней стлался прохладный, чистый поток сочной зеленой травы. Дедушке уже представлялось, как она щекочет его ноги, охлаждает разгоряченное лицо, наполняет ноздри извечным ароматом вновь родившегося лета и обещает: да, мы все — ВСЕ! — проживем еще целый год.

Великое чудо — косилка, говорил себе дедушка. Какой это дурак выдумал, что новый год начинается первого января? Надо было поставить дозорных караулить рост травы на миллионах лужаек Иллинойса, Огайо или Айовы — и как заметят, что она созрела для сенокоса, в то самое утро вместо фейерверков, фанфар и криков пусть начинается великая бурная симфония косилок,

срезающих свежие травы на необъятных луговых просторах. В тот единственный день в году, который по-настоящему знаменует собой начало, людям надо бы бросать друг в друга не конфетти и не серпантин, а пригоршни свежескошенной травы.

Дедушка хмыкнул — что-то уж больно долгую философию развел! — встал, подошел к окну и высунулся в ласковый солнечный свет. Так и есть: Форестер, новый жилец, молодой газетчик, как раз заканчивает ряд.

— Доброе утро, мистер Сполдинг!

— Так ее, хорошенько, Билл! — с жаром крикнул дедушка и вскоре уже сидел внизу и уплетал приготовленный бабушкой завтрак; широкое окно было раскрыто, и жужжанье косилки словно подпевало завтраку.

— От этой косилки на душе становится спокойнее, — заметил дедушка. — Ты только послушай!

— Теперь уж недолго нам ее слушать, — отозвалась бабушка и поставила на стол горку пшеничных лепешек. — Билл Форестер посеет сегодня новый сорт травы, ее не надо будет косить. Не помню, как там она называется, но она как вырастет, сколько нужно, так сама и остановится и больше не растет.

Дедушка с изумлением уставился на жену.

— Довольно глупая шутка, — сказал он наконец.

— Иди посмотри сам. Билл Форестер говорит, это земле на пользу, — сказала бабушка. — Он уже привез новые семена, они сложены за домом в маленьких корзинках. Нужно в разных местах вырыть ямки и засыпать туда семена. К концу года новая трава убьет всю старую, и тогда можешь продавать свою косилку, она тебе больше не понадобится.

Дедушка сорвался со стула и мигом выскочил во двор. Билл Форестер остановил косилку и, жмурясь от солнца, с улыбкой подошел к нему.

— Вот так-то, — сказал он. — Вчера купил новые семена. Дай думаю, засею вам лужайку, пока я свободен.

— А меня почему не спросили? Лужайка-то все-таки моя! — закричал дедушка.

— Я думал, вы будете довольны, мистер Сполдинг.

— Ничего я не доволен. Покажите мне эту чертову траву.

Они стояли возле маленьких четырехугольных корзинок с новомодными семенами. Дедушка подозрительно потыкал одну из них носком

башмака.

— По-моему, это самая обыкновенная трава. А вы уверены, что вас не надули?

— Я в Калифорнии видел, как она растет. Вот настолько вырастет — и все. Если только она приживется в здешнем климате, нам уже на будущий год не придется каждую неделю подстригать лужайку.

— В том-то и беда с вашим поколением, — сказал дедушка. — Мне стыдно за вас, Билл, а еще журналист! Вы готовы уничтожить все, что есть на свете хорошего. Только бы тратить поменьше времени, поменьше труда, вот чего вы добиваетесь. — Он непочтительно пнул корзинку ногой. — Вот поживете с мое, тогда поймете, что мелкие радости куда важнее крупных. Рано утром по весне прогуляться пешком не в пример лучше, чем катить восемьдесят миль в самом роскошном автомобиле; а знаете почему? Потому что все вокруг благоухает, все растет и цветет. Когда идешь пешком, есть время оглядеться вокруг, заметить самую малую красоту. Я понимаю, сейчас вам хочется охватить все сразу, и это, наверно, естественно, это свойство молодости. Но газетчику надо уметь видеть и мелкий виноград, а не только огромные арбузы. Вам подавай целый

скелет, а с меня довольно и следа пальцев; что ж, тоже понятно. Сейчас мелочи кажутся вам скучными, но, может, вы просто еще не знаете им цены, не умеете находить в них вкус? Дай вам волю, вы бы издали закон об устранении всех мелких дел, всех мелочей. Но тогда вам нечего было бы делать в перерыве между большими делами и пришлось бы до исступления придумывать себе занятие, чтобы не сойти с ума. Так уж лучше поучились бы кое-чему у самой природы. Подстригать траву и выпалывать сорняки — тоже одна из радостей жизни, сынок.

Билл Форестер ласково улыбнулся старику.

— Знаю, знаю, — сказал дедушка. — Я становлюсь слишком болтливым.

— В жизни никого не слушал с таким удовольствием.

— Тогда продолжим лекцию. Куст сирени лучше орхидей. И одуванчики тоже, и чертополох. А почему? Да потому, что они хоть ненадолго отвлекают человека, уводят его от людей и города, заставляют попотеть и возвращают с небес на землю. И уж когда ты весь тут и никто тебе не мешает, хоть ненадолго остаешься наедине с самим собой и начинаешь думать, один, без посторонней помощи. Когда копаешься в саду,

самое время пофилософствовать. Никто об этом не догадывается, никто тебя не обвиняет, никто и не знает ничего, а ты становишься заправским философом — эдакий Платон среди пионов, Сократ, который сам себе выращивает цикуту. Тот, кто тащит на спине по своей лужайке мешок навоза, сродни Атласу, у которого на плечах вращается земной шар. Сэмюэл Сполдинг, эсквайр, сказал однажды: «Копая землю, покопайся у себя в душе». Вертите лопасти этой косилки, Билл, и да оросит вас живительная струя Фонтана юности. Лекция окончена. Кроме того, изредка очень пользительно отведать зелени одуванчиков.

— А вы давно ели зелень одуванчиков на ужин, сэр?

— Не будем уточнять.

Билл кивнул и легонько стукнул ближайшую корзинку носком башмака.

— Так вот, насчет этой травы. Я еще не все вам сказал. Она растет так густо, что наверняка заглушит и клевер и одуванчики.

— Господи помилуй! Значит, уже на будущий год мы останемся без вина из одуванчиков? И ни одной пчелы над лужайкой? Да вы просто с ума сошли! Послушайте, сколько вы заплатили за эти семена?

— Доллар корзинка. Я купил десять штук вам в подарок.

Дедушка полез в карман, вытащил старомодный длинный кошелек, отстегнул серебряную застежку и извлек три бумажки по пять долларов.

— Билл, вы только что совершили превыгодную сделку — заработали пять долларов. Извольте сейчас же отправить всю эту чересчур прозаическую траву в овраг, на помойку, — словом, куда хотите, только, покорнейше прошу, не сейте ее у меня во дворе. Я знаю, у вас самые похвальные намерения, но я все-таки уже достиг весьма почтенного возраста и с моими желаниями не грех считаться в первую очередь.

— Хорошо, сэр. — Билл нехотя сунул деньги в карман.

— Вот что, Билл: вы просто посеете эту новую траву когда-нибудь в другой раз. Как только я помру, на другой же день можете перекопать эту чертову лужайку. Ну как, хватит у вас терпения подождать еще лет пять-шесть, чтобы старый болтун успел отдать концы?

— Уж будьте уверены, подожду, — сказал Билл.

— Сам не знаю, как вам объяснить, но для меня жужжанье этой косилки — самая прекрасная

мелодия на свете, в ней вся прелесть лета, без нее я бы ужасно тосковал, и без запаха свежескошенной травы тоже.

Билл нагнулся и поднял с земли корзинку.

— Я пошел к оврагу.

— Вы славный юноша и все понимаете, я уверен, из вас получится блестящий и умный репортер, — сказал дедушка, помогая ему поднять корзинку. — Я вам это предсказываю!

Прошло утро, наступил полдень. После обеда дедушка поднялся к себе, немного почитал Уиттиера[3] и крепко уснул. Когда он проснулся, было три часа, в окна вливался яркий и веселый солнечный свет. Дедушка лежал в кровати и вдруг вздрогнул — с лужайки доносилось прежнее, знакомое, незабываемое жужжанье.

— Что это? — сказал он. — Кто-то косит траву! Но ведь ее только сегодня утром скосили!

Он еще послушал. Да, конечно, это жужжит косилка — мерно, неутомимо.

Дедушка выглянул в окно и ахнул.

— Да ведь это Билл! Эй, Билл Форестер! Вам что, солнце ударило в голову? Вы косите уже скошен-

---

**[3] Примечания: 3**

Уиттиер Дж. Г. (Whittier, 1807–1892) — американский поэт, прозаик, журналист, автор аболиционистских «Передовиц в стихах» и многих религиозных гимнов.

ную траву!

Билл поднял голову, простодушно улыбнулся и помахал рукой.

— Знаю. Но, кажется, утром я работал не очень чисто. — Дедушка еще добрых пять минут нежился в кровати, и с лица его не сходила улыбка, а Билл Форестер все шагал с косилкой — на север, на восток, на юг и наконец на запад, — и из-под косилки весело бил душистый зеленый фонтан.

В воскресенье утром Лео Ауфман бродил по своему гаражу, словно ожидая, что какое-нибудь полено, виток проволоки, молоток или гаечный ключ подпрыгнет и закричит: «Начни с меня!» Но ничто не подпрыгивало, ничто не просилось в начало.

«Какая она должна быть, эта Машина счастья? — думал Лео. — Может, она должна умещаться в кармане? Или она должна тебя самого носить в кармане?»

— Одно я знаю твердо, — сказал он вслух. — Она должна быть яркой!

Лео поставил на верстак банку оранжевой краски, взял словарь и побрел в дом.

— Лина! — Он заглянул в толковый словарь. — Ты довольна, спокойна, весела, в восторге? Тебе во всем везет и все удается? По-твоему, все идет

разумно, хорошо и успешно?

Лина перестала резать овощи и закрыла глаза.

— Прочитай мне все это еще раз, пожалуйста. — Лео захлопнул словарь.

— За какие это грехи я должен целый час ждать, пока ты придумаешь мне ответ? Скажи только да или нет, больше мне ничего не надо. Ты что же, не довольна, не спокойна, не весела и не в восторге?

— Довольны бывают коровы, а в восторге — младенцы да несчастные старики, которые уже впали в детство, — сказала Лина. — Ну а насчет того, что весела… Сам видишь, как я весело смеюсь, когда скребу эту раковину.

Лео внимательно поглядел на жену, и лицо его прояснилось.

— Ты права, Лина. Мужчины такой народ — никогда ничего не смыслят. Может быть, мы вырвемся из этого заколдованного круга уже совсем скоро.

— Я вовсе не жалуюсь, — закричала Лина. — Я-то не прихожу к тебе со словарем и не говорю: «Высунь язык!» Лео, ты ведь не спрашиваешь, почему сердце у тебя стучит не только днем, но и ночью? Нет. А можешь ты спросить, что такое брак? Кто это знает? Не задавай вопросов. Есть

же такие люди — все им надо знать: как устроен мир, как то, как се да как это… задумается такой — и падает с трапеции в цирке либо задохнется, потому что ему приспичило понять, как у него в горле мускулы работают. Ешь, пей, спи, дыши и перестань смотреть на меня такими глазами, будто в первый раз видишь.

Лина Ауфман вдруг замерла. Потянула носом воздух.

— Вот беда! А все ты виноват.

Она рванула дверцу духовки. Оттуда повалил дым.

— Счастье, счастье! — горестно воскликнула она. — Из-за этого счастья мы с тобой ссоримся, в первый раз за полгода. И в первый раз за двадцать лет на ужин будут уголья вместо хлеба!

Когда дым рассеялся, Лео Ауфмана уже и след простыл.

Грохот, лязг, схватка человека с вдохновением, день за днем в воздухе так и мелькают куски металла, дерева, молоток, гвозди, рейсшина, отвертки… Порой Лео Ауфмана охватывало отчаяние — и он скитался по улицам, всегда беспокойный, всегда начеку; он вздрагивал и оборачивался, заслышав где-то вдалеке чей-то смех, прислушивался к забавам детворы, присматри-

вался — что вызывает у детей улыбку? Вечерами он подсаживался к шумной компании на веранде у кого-нибудь из соседей, слушал, как старики вспоминают прошлое и толкуют о жизни, — и при каждом взрыве веселья оживлялся, точно генерал, который видит, что темные вражеские силы разгромлены и что его стратегия оказалась правильной. По дороге домой он торжествовал, пока не входил опять в свой гараж, где лежали мертвые инструменты и неодушевленное дерево. Тогда его сияющее лицо вновь мрачнело, и, пытаясь избыть горечь неудачи, он с ожесточением расшвыривал и колотил части своей машины, словно это были живые яростные противники. Наконец контуры машины начали вырисовываться, и через десять дней и ночей, дрожа от усталости, изможденный, полумертвый от голода, такой высохший и почерневший, точно в него ударила молния, Лео Ауфман, спотыкаясь, побрел в дом.

Дети ссорились и оглушительно кричали друг на друга, но при виде отца тотчас умолкли, как будто пробил урочный час и в комнату вошла сама смерть.

— Машина счастья готова, — прохрипел Лео Ауфман.

— Лео Ауфман похудел на пятнадцать фунтов, — сказала его жена. — Он уже две недели не разговаривал со своими детьми, они сами не свои, смотрите, они дерутся! Его жена тоже сама не своя, смотрите, она потолстела на десять фунтов, теперь ей понадобятся новые платья! Да, конечно. Машина готова, а стали мы счастливее? Кто скажет? Лео, брось ты мастерить эти часы, в них не влезет ни одна кукушка. Человеку не положено соваться в такие дела. Господу богу это, наверно, не повредит, а вот Лео Ауфману один вред и никакой пользы. Если так будет продолжаться еще хоть неделю, мы его похороним в его собственной Машине.

Но этих слов Лео Ауфман уже не слышал: он с изумлением смотрел, как на него валится потолок.

Вот так штука, — подумал он, уже лежа на полу.

Но тут его обволокла тьма, и он услышал только, как кто-то трижды прокричал что-то насчет Машины счастья.

На другое утро, едва раскрыв глаза, он увидел птиц: они проносились в воздухе, точно разноцветные камешки, брошенные в непостижимо чистый ручей, и, легонько звякнув, опускались

на жестяную крышу гаража.

Собаки всевозможных пород тихонько прокрадывались во двор и, повизгивая, заглядывали в гараж; четверо мальчишек, две девочки и несколько мужчин помедлили на дорожке, потом нерешительно подошли поближе и остановились под вишнями.

Лео Ауфман прислушался и понял, что влечет их всех к нему во двор.

Голос Машины счастья.

Такое можно было бы услышать летним днем возле кухни какой-нибудь великанши. Это было разноголосое жужжанье — высокое и низкое, то ровное, то прерывистое. Казалось, там вьются роем огромные золотистые пчелы величиной с чашку и стряпают сказочные блюда. Сама великанша удовлетворенно мурлычет себе под нос песенку, лицо у нее — точно розовая луна в полнолуние; вот-вот она, необъятная, как лето, подплывет к дверям и спокойно глянет во двор, на улыбающихся собак, на белобрысых мальчишек и седых стариков.

— Постойте-ка, — громко сказал Лео. — Я ведь сегодня еще не включал Машину. Саул!

Саул поднял голову — он тоже стоял внизу во дворе.

— Саул, ты ее включил?

— Ты же сам полчаса назад велел мне разогреть ее.

— Ах да. Я совсем забыл. Я еще толком не проснулся. И он опять откинулся на подушку. Лина принесла ему завтрак и остановилась у окна, глядя вниз, на гараж.

— Послушай, Лео, — негромко сказала она. — Если эта Машина и вправду такая, как ты говоришь, может быть, она умеет рожать детей? А может она превратить старика снова в юношу? И еще — можно в этой Машине со всем ее счастьем спрятаться от смерти?

— Спрятаться?

— Вот ты работаешь, себя не жалеешь, а в конце концов надорвешься и помрешь — что я тогда буду делать? Влезу в этот большой ящик и стану счастливой? И еще скажи мне, Лео: что у нас теперь за жизнь? Сам знаешь, как у нас ведется дом. В семь утра я поднимаю детей, кормлю их завтраком; к половине девятого вас никого уже нет и я остаюсь одна со стиркой, одна с готовкой, и носки штопать тоже надо, и огород полоть, и в лавку сбегать, и серебро почистить. Я разве жалуюсь? Я только напоминаю тебе, как ведется наш дом, Лео, как я живу. Так вот, ответь мне: как

все это уместится в твою Машину?

— Она устроена совсем иначе.

— Очень жаль. Значит, мне некогда будет даже посмотреть, как она устроена.

Лина поцеловала его в щеку и вышла из комнаты, а он лежал и принюхивался — ветер снизу доносил сюда запах Машины и жареных каштанов, что продаются осенью на улицах Парижа, которого он никогда не видел…

Между завороженными собаками и мальчишками невидимкой проскользнула кошка и замурлыкала у дверей гаража; а из-за гаража слышался шорох снежно-белой пены, мерное дыханье прибоя у далеких-далеких берегов…

Завтра мы испытаем Машину, думал Лео Ауфман. Все вместе.

Он проснулся поздно ночью — что-то его разбудило. Далеко, в другой комнате, кто-то плакал.

— Саул, это ты? — шепнул Лео Ауфман, вылезая из кровати, и пошел к сыну.

Мальчик горько рыдал, уткнувшись в подушку.

— Нет… нет… — всхлипывал он. — Все кончено… кончено…

— Саул, тебе приснилось что-нибудь страшное? Расскажи мне, сынок!

Но мальчик только заливался слезами.

И тут, сидя у него на кровати, Лео Ауфман, сам не зная почему, выглянул в окно. Двери гаража были распахнуты настежь.

Он почувствовал, как волосы у него встали дыбом.

Когда Саул, тихонько всхлипывая, наконец, забылся беспокойным сном, отец спустился по лестнице, подошел к гаражу и, затаив дыхание, осторожно вытянул руку.

Ночь была прохладная, но Машина счастья обожгла ему пальцы.

Вот оно что, подумал он: Саул приходил сюда сегодня ночью.

Зачем? Разве он несчастлив и ему нужна Машина? Нет, он счастлив, просто он хочет навсегда сохранить свое счастье. Что же тут плохого, если мальчик умен, и знает цену счастью, и хочет его сохранить? Ничего плохого в этом нет. И все-таки…

Внезапно у Саула в окне колыхнулось что-то белое. Сердце Лео бешено заколотилось. Но он сейчас же понял — это всего лишь ветром подхватило белую занавеску. А ему показалось — что-то нежное, трепетное выпорхнуло в ночь, словно сама душа мальчика вылетела из окна. И Лео

Ауфман невольно вскинул руки, словно хотел поймать ее и втолкнуть обратно в спящий дом.

Весь дрожа, он вернулся в комнату Саула, поймал хлопавшую на ветру занавеску и накрепко запер окно, чтобы она не могла больше вырваться наружу. Потом сел на кровать и положил руку на плечо сына.

— «Повесть о двух городах»? Моя. «Лавка древностей»? Ха, уж это-то наверняка Лео Ауфмана. «Большие надежды»? Когда-то это было мое. Но теперь пусть «Большие надежды» остаются ему.

— Что тут происходит? — спросил Лео Ауфман, входя в комнату.

— Тут происходит раздел имущества, — ответила Лина. — Если отец ночью до полусмерти пугает сына, значит, пора делить все пополам. Прочь с дороги, «Холодный дом» и «Лавка древностей»! Во всех этих книгах, вместе взятых, не найдешь такого сумасшедшего выдумщика, как Лео Ауфман!

— Ты уезжаешь — и даже не испробовала, что такое Машина счастья! — запротестовал он. — Попробуй хоть разок, и, уж конечно, ты сейчас же все распакуешь и останешься!

— «Том Свифт и его электрический истребитель», а это чье? Угадать нетрудно.

И Лина, презрительно фыркнув, протянула книгу мужу.

К вечеру все книги, посуда, белье и одежда были поделены — одна сюда, одна туда; четыре сюда, четыре туда; десять сюда, десять туда. У Лины Ауфман голова пошла кругом от этих счетов, и она присела отдохнуть.

— Ну ладно, — выдохнула она. — Пока я не уехала, Лео, попробуй, докажи мне, что это не по твоей вине ни в чем не повинным детям снятся страшные сны.

Лео Ауфман молча повел жену в сумерки. И вот она стоит перед огромным, вышиной в восемь футов, оранжевым ящиком.

— Это и есть счастье? — недоверчиво спросила она. — Какую же кнопку мне нажать, чтобы я стала рада и счастлива, всем довольна и весьма признательна?

А вокруг них уже собрались все дети.

— Мама, не надо, — сказал Саул.

— Должна же я знать, о чем прошу судьбу, Саул, — возразила Лина.

Она влезла в Машину, уселась и, качая головой, посмотрела оттуда на мужа.

— Это нужно вовсе не мне, а тебе, несчастному неврастенику, который стал на всех кричать.

— Ну, пожалуйста, — сказал он. — Сейчас сама увидишь.

И закрыл дверцу.

— Нажми кнопку! — закричал он. Раздался щелчок. Машина слегка вздрогнула, как большая собака во сне.

— Папа, — с тревогой позвал Саул.

Слушай! — ответил Лео Ауфман.

Сперва все было тихо, только Машина подрагивала — где-то в ее глубине таинственно двигались зубцы и колесики.

— С мамой там ничего не случилось? — спросила Ноэми.

— Ничего, ей там хорошо. Вот сейчас... Вот! — Из Машины послышался голос Лины Ауфман:

— Ах!.. О!.. — Голос был изумленный. — Нет, вы только посмотрите! Это Париж! — И через минуту: — Лондон! А это Рим! Пирамиды! Сфинкс!

— Вы слышите, дети: сфинкс! — шепнул Лео Ауфман и засмеялся.

— Духами пахнет! — с удивлением воскликнула Лина Ауфман.

Где-то патефон тихо заиграл «Голубой Дунай» Штрауса.

— Музыка! Я танцую!

— Ей только кажется, что она танцует, — пове-

дал миру Лео Ауфман.

— Чудеса! — сказала в Машине Лина. Лео Ауфман покраснел.

— Вот что значит жена, которая понимает своего мужа! — И тут Лина Ауфман заплакала в Машине счастья. Улыбка сбежала с губ изобретателя.

— Она плачет, — сказала Ноэми.

— Не может этого быть!

— Плачет, — подтвердил Саул.

— Да не может она плакать! — И Лео Ауфман, недоуменно моргая, прижался ухом к стенке Машины. — Но… да… плачет, как маленькая…

Он открыл дверцу.

— Постой. — Лина сидела в Машине, и слезы градом катились по ее щекам. — Дай мне доплакать. — И она еще немного поплакала. Ошеломленный, Лео Ауфман выключил свою Машину.

— Какое же это счастье, одно горе! — всхлипывала его жена. — Ох, как тяжко, прямо сердце разрывается… — Она вылезла из Машины. — Сначала там был Париж…

— Что ж тут плохого?

— Я в жизни и не мечтала побывать в Париже. А теперь ты навел меня на эти мысли. Париж!

И вдруг мне так захотелось в Париж, а ведь я отлично знаю, мне его вовек не видать.

— Машина, в общем-то, не хуже.

— Нет, хуже! Я сидела там и знала, что все это обман.. — Не плачь, мама!

Лина посмотрела на мужа большими черными глазами, полными слез.

— Ты заставил меня танцевать. А мы не танцевали уже двадцать лет.

— Завтра же сведу тебя на танцы!

— Нет, нет! Это неважно, и правильно, что неважно. А вот твоя Машина уверяет, будто это важно! И я начинаю ей верить! Ничего, Лео, все пройдет, я только еще немножко поплачу.

— Ну а еще что плохо?

— Еще? Твоя машина говорит: «Ты молодая». А я уже не молодая. Она все лжет, эта Машина грусти!

— Почему же грусти?

Лина уже немного успокоилась.

— Я тебе скажу, в чем твоя ошибка, Лео: ты забыл главное — рано или поздно всем придется вылезать из этой штуки и опять мыть грязную посуду и стелить постели. Конечно, пока сидишь там внутри, закат длится чуть не целую вечность, и воздух такой душистый, так тепло и хорошо.

И все, что хотелось бы продлить, в самом деле длится и длится. А дома дети ждут обеда, и у них оборваны пуговицы. И потом, давай говорить честно: сколько времени можно смотреть на закат? И кому нужно, чтобы закат продолжался целую вечность? И кому нужно вечное тепло? Кому нужен вечный аромат? Ведь ко всему этому привыкаешь и уже просто перестаешь замечать. Закатом хорошо любоваться минуту, ну две. А потом хочется чего-нибудь другого. Уж так устроен человек, Лео. Как ты мог про это забыть?

— А разве я забыл?

— Мы потому и любим закат, что он бывает только один раз в день.

— Но это очень грустно, Лина.

— Нет, если бы он длился вечно и до смерти надоел бы нам, вот это было бы по-настоящему грустно. Значит, ты сделал две ошибки. Во-первых, задержал и продлил то, что всегда проходит быстро. Во-вторых, принес сюда, в наш двор, то, чего тут быть не может, и все получается наоборот, начинаешь думать: «Нет, Лина Ауфман, ты никогда не поедешь путешествовать, не видать тебе Парижа. И Рима тоже». Но ведь я и сама это знаю, зачем же мне напоминать? Лучше забыть, тянуть свою лямку и не ворчать.

Лео Ауфман прислонился к Машине, ноги у него подкашивались. И с удивлением отдернул обожженную руку.

— Как же теперь быть, Лина? — спросил он.

— Вот уж этого я не знаю. Но только пока эта штука, стоит здесь, меня все время будет тянуть к ней и Саула тоже, как прошлой ночью: знаем, что глупо и ни к чему, а все равно захочется сидеть в этом ящике и глядеть на далекие края, где нам вовек не бывать, и всякий раз мы будем плакать, и такая семья тебе вовсе не годится.

— Ничего не понимаю, — сказал Лео Ауфман. — Как же это я так оплошал? Дай-ка я сам посмотрю, верно ли ты говоришь. — Он уселся в Машину. — Ты не уйдешь?

— Мы тебя подождем, — сказала Лина.

Он закрыл дверцу. Чуть помедлил в теплой тьме, потом нажал кнопку, откинулся назад и уже готов был насладиться яркими красками и музыкой, но тут раздался крик:

— Пожар, папа! Машина горит!

Кто-то забарабанил в дверцу. Лео вскочил, ударился головой и упал, но тут дверца поддалась, и сыновья вытащили его наружу. Позади что-то глухо взорвалось. Вся семья кинулась бежать. Лео Ауфман оглянулся и ахнул.

— Саул! — выкрикнул он, задыхаясь. — Вызови пожарную команду!

Саул кинулся было со двора, но Лина схватила его за рукав.

— Подожди, — сказала она.

Из Машины вырвался язык пламени, раздался еще один приглушенный взрыв. Когда Машина разгорелась как следует, Лина Ауфман кивнула.

— Ну вот, Саул, теперь можно звонить в пожарную команду.

Все, соседи и не соседи, сбежались на пожар. Были тут и дедушка Сполдинг, и Дуглас, и Том, и почти все жители их квартала, и несколько стариков из другой части города, что за оврагом, и все ребятишки из шести окрестных кварталов. А дети Лео Ауфмана стояли впереди всех и очень гордились — вот какое отличное пламя вырывается из-под крыши их гаража!

Дедушка Сполдинг пригляделся к высокому — под самое небо — столбу дыма и негромко спросил:

— Лео, это она? Ваша Машина счастья?

— Счастья или несчастья — в этом я когда-нибудь разберусь и тогда отвечу вам, — сказал Лео.

Лина Ауфман стояла в темноте и смотрела, как бегают по двору пожарники; наконец гараж с

грохотом рухнул.

— Тебе вовсе незачем долго в этом разбираться, Лео, — сказала она. — Просто оглянись вокруг. Подумай. Помолчи немного. А потом приди и скажи мне. Я буду в доме, надо поставить книги обратно на полки, положить одежду обратно в шкафы, приготовить ужин. Мы и так запоздали с ужином, смотри, как темно на улице. Пойдемте, дети, помогите маме.

Когда пожарные и соседи ушли, Лео Ауфман остался с дедушкой Сполдингом, Дугласом и Томом; все они задумчиво смотрели на догорающие остатки гаража. Лео ткнул ногой в мокрую золу и медленно высказал то, что лежало на душе:

— Первое, что узнаешь в жизни, — это что ты дурак. Последнее, что узнаешь, — это что ты все тот же дурак. Многое передумал я за один только час. И сказал себе: да ведь ты слепой, Лео Ауфман! Хотите увидать настоящую Машину счастья? Ее изобрели тысячи лет тому назад, и она все еще работает: не всегда одинаково хорошо, нет, но все-таки работает. И она все время здесь.

— А пожар… — начал было Дуглас.

— Да, конечно, пожар, гараж! Но Лина права, долго раздумывать над этим незачем: то, что сгорело в гараже, не имеет никакого отношения

к счастью.

Он поднялся по ступеням крыльца и поманил их за собой.

— Вот, — шепнул Лео Ауфман. — Посмотрите в окно. Тише, сейчас вы все увидите.

Дедушка Сполдинг, Дуглас и Том нерешительно заглянули в большое окно, выходившее на улицу.

И там, в теплом свете лампы, они увидели то, что хотел им показать Лео Ауфман. В столовой за маленьким столиком Саул и Маршалл играли в шахматы. Ребекка накрывала стол к ужину. Ноэми вырезала из бумаги платья для своих кукол. Рут рисовала акварелью. Джозеф пускал по рельсам заводной паровоз. Дверь в кухню была открыта: там, в облаке пара, Лина Ауфман вынимала из духовки дымящуюся кастрюлю с жарким. Все руки, все лица жили и двигались. Из-за стекол чуть слышно доносились голоса. Кто-то звонко распевал песню. Пахло свежим хлебом, и ясно было, что это — самый настоящий хлеб, который сейчас намажут настоящим маслом. Тут было все, что надо, и все это — живое, неподдельное.

Дедушка, Дуглас и Том обернулись и поглядели на Лео Ауфмана, а тот неотрывно смотрел в окно, и розовый отсвет лампы лежал на его лице.

— Ну конечно, — бормотал он. — Это оно самое и есть.

Сперва с тихой грустью, потом с живым удовольствием и наконец со спокойным одобрением он следил, как движутся, цепляются друг за друга, останавливаются и вновь уверенно и ровно вертятся все винтики и колесики его домашнего очага.

— Машина счастья, — сказал он. — Машина счастья.

Через минуту его уже не было под окном.

Дедушка, Дуглас и Том видели, как он захлопотал в доме — то поправит что-нибудь, то передвинет, то складку разгладит, то пылинку сдует — такой же деловитый винтик большой, удивительной, бесконечно тонкой, вечно таинственной, вечно движущейся машины.

А потом, не переставая улыбаться, они спустились с крыльца в прохладную летнюю ночь.

Два раза в год во двор выносили большие хлопающие ковры и расстилали их на лужайке, где они были совсем не к месту и казались какими-то необитаемыми. Потом из дома выходили мама и бабушка, в руках они несли как будто спинки красивых плетеных кресел, что стоят в парке у павильона с газированной водой. Каждому

вручали такой жезл с широкой плетеной верхушкой, и все — Дуглас, Том, бабушка, прабабушка и мама — становились в кружок над пыльными узорами старой Армении, точно сборище ведьм и домовых. Затем по знаку прабабушки — едва она мигнет или подожмет губы — все вскидывали цепы и принимались без передышки молотить ковры.

— Вот тебе, вот, — приговаривала прабабушка. — Бейте блох, мальчики, не жалейте и вшей!

— Ну что ты такое говоришь! — укоризненно замечала ей бабушка.

Все смеялись. Вокруг бушевала пыльная буря, и смех переходил в кашель.

Вихри корпии, струи песка, золотистые хлопья трубочного табака взвивались в воздух и трепетали, подбрасываемые все новыми и новыми ударами. Останавливаясь, чтобы передохнуть, мальчики видели следы своих башмаков и башмаков взрослых, тысячу раз отпечатавшиеся на узорах ковра, — восточный рисунок то исчезал, то появлялся вновь вместе с мерным прибоем ударов, что омывал его берега.

— Вот тут твой муж пролил кофе. — И бабушка ударила по ковру.

— А здесь ты пролила сметану. — И прабабушка

выбила из ковра огромный столб пыли.

— Смотрите, тут весь ворс вытоптан. Ах, ребята, ребята!

— А вот чернила, прабабушка!

— Глупости! У меня чернила лиловые, а это обыкновенные, синие.

Хлоп!

— Посмотрите, какую дорожку протоптали, — это из прихожей в кухню. Ох уж эта еда! Она даже львов ведет на водопой. Давайте-ка повернем его другим боком.

— А может, просто запереть все двери и никого не впускать?

— Или пусть разуваются еще в прихожей!

Хлоп, хлоп!

Наконец ковры развешаны на веревках. Том разглядывает узор — хитроумные петли и переплеты, цветы, какие-то загадочные фигуры, разводы и змеящиеся линии.

— Том, ты что стоишь? Выбивай!

— Занятно все-таки видеть всякие вещи, — говорит Том. Дуглас подозрительно смотрит на него.

— Что ты там увидел?

— Да весь город, людей, дома, вот и наш дом. — Хлоп! — Наша улица! — Хлоп! — А вон то, чер-

ное, — овраг. — Хлоп! — Вот школа. — Хлоп! — А вот эта чудная закорючка — ты, Дуг! — Хлоп! — Вот прабабушка, бабушка, мама... — Хлоп! — Сколько же лет пролежал у нас этот ковер?

— Пятнадцать.

— И целых пятнадцать лет по нему топали! Даже видны отпечатки башмаков! — ахнул Том.

— Силен ты болтать, парень, — сказала прабабушка.

— Тут видно все, что случилось у нас в доме за пятнадцать лет. — Хлоп! — Конечно, это все прошлое, но я могу и будущее увидать. Вот сейчас зажмурюсь, а потом — р-раз! — погляжу на эти разводы и сразу увижу, где мы завтра будем ходить и бегать.

Дуглас перестал размахивать выбивалкой.

— А что еще ты там видишь?

— Главным образом нитки, — вставила прабабушка. — Тут только и осталась одна основа. Сразу видно, как его ткали.

— Верно, — загадочно сказал Том. — В эту сторону нитки и в ту тоже. Я все вижу. Черти рогатые. Грешники в аду. Хорошая погода и плохая. Прогулки. Праздничные обеды. Земляничные пиры. — Он с важным видом тыкал выбивалкой то в одно, то в другое место ковра.

— Да по-твоему выходит, что я держу тут какой-то пансион, — сказала бабушка, вся красная и запыхавшаяся.

— Тут все видно, хоть и не очень ясно. Дуг, ты нагни голову набок и зажмурь один глаз, только не совсем. Конечно, ночью видно лучше, когда ковер в комнате, и лампа горит, и вообще. Тогда тени бывают самые разные, кривые и косые, светлые и темные, и видно, как нитки разбегаются во все стороны: пощупаешь ворс, погладишь, а он как шкура какого-нибудь зверя. И пахнет как пустыня, правда-правда. Жарой пахнет и песком — наверно, так пахнет каменный гроб, где лежит мумия. Смотри, видишь красное пятно? Это горит Машина счастья!

— Просто кетчуп с какого-то сандвича, — сказала мама.

— Нет, Машина счастья, — возразил Дуглас, и ему стало грустно, что и тут она горит. Он так надеялся на Лео Ауфмана, уж у него-то все пойдет как надо, он всех заставит улыбаться, и каждый раз, когда земля, повернувшись от солнца, накренится к черным безднам вселенной, маленький гироскоп, который сидит у Дугласа где-то внутри, станет поворачивать к солнцу. И вот Лео Ауфман что-то там прошляпил — и осталась только кучка

золы да пепла.

Хлоп! Хлоп! Дуглас с силой ударил выбивалкой.

— Смотрите, вот Зеленый электрический автомобильчик! Мисс Ферн! Мисс Роберта! — сказал Том. — Би-ип! Би-ип!

Хлоп!

Все рассмеялись.

— А вот твои линии жизни, Дуг, они все в узлах. Слишком много кислых яблок! И соленые огурцы перед сном!

— Которые? Где? — закричал Дуглас, всматриваясь в узор ковра.

— Вот эта — через год, эта — через два, а эта — через три, четыре и пять лет.

Хлоп! Проволочная выбивалка зашипела, точно змея.

— А вот эта — на всю остальную жизнь, — сказал Том. Он ударил по ковру с такой силой, что вся пыль пяти тысяч столетий рванулась из потрясенной ткани, на мгновенье замерла в воздухе, — и пока Дуглас стоял, зажмурясь, и старался хоть что-нибудь разглядеть в переплетающихся нитях и пестрых разводах ковра, лавина армянской пыли беззвучно обрушилась на него и навеки погребла его на глазах у всех родных…

Старая миссис Бентли и сама не могла бы сказать, как все это началось. Она часто видела детей в бакалейной лавке — точно мошки или обезьянки, мелькали они среди кочанов капусты и связок бананов, и она улыбалась им, и они улыбались в ответ. Миссис Бентли видела, как они бегают зимой по снегу, оставляя на нем следы, как вдыхают осенний дым на улицах, а когда цветут яблони — стряхивают с плеч облака душистых лепестков, но она никогда их не боялась. Дом у нее в образцовом порядке, каждая мелочь на своем привычном месте, полы всегда чисто выметены, провизия аккуратно заготовлена впрок, шляпные булавки воткнуты в подушечки, а ящики комода в спальне доверху набиты всякой всячиной, что накопилась за долгие годы.

Миссис Бентли была женщина бережливая. У нее хранились старые билеты, театральные программы, обрывки кружев, шарфики, железнодорожные пересадочные билеты — словом, все приметы и свидетельства ее долгой жизни.

— У меня куча пластинок, — говорила она. — Вот Карузо: это было в Нью-Йорке, в девятьсот шестнадцатом; мне тогда было шестьдесят, и Джон был еще жив… А вот Джун Мун — это, кажется, девятьсот двадцать четвертый год, Джон

только что умер…

Вот это было, пожалуй, самым большим огорчением в ее жизни: то, что она больше всего любила слушать, видеть и ощущать, ей сохранить не удалось. Джон остался далеко в лугах, он лежит там в ящике, а ящик надежно спрятан под травами, а над ним написано число… и теперь ей ничего от него не осталось, только высокий шелковый цилиндр, трость да выходной костюм, что висит в гардеробе. А все остальное пожрала моль.

Но миссис Бентли сохранила все, что могла. Пять лет назад, когда она переехала в этот город, она привезла с собой огромные черные сундуки — там, пересыпанные шариками нафталина, лежали смятые платья в розовых цветочках и хрустальные вазочки ее детства. Покойный муж владел всякого рода недвижимым имуществом в разных городах, и она передвигалась из одного города в другой, словно пожелтевшая от времени шахматная фигура из слоновой кости, продавая все подряд, пока не очутилась здесь, в чужом, незнакомом городишке, окруженная своими сундуками и темными уродливыми шкафами и креслами, застывшими по углам, будто давно вымершие звери в допотопном зоологическом саду.

Происшествие с детьми случилось в середине

лета. Миссис Бентли вышла из дому полить дикий виноград у себя на парадном крыльце и увидела, что на лужайке преспокойно разлеглись две девочки и мальчик, — свежескошенная трава покалывала их голые руки и ноги, и это им явно нравилось.

Миссис Бентли благодушно улыбнулась всем своим желтым морщинистым лицом, и в эту минуту из-за угла появилась тележка с мороженым. Точно оркестр крошечных эльфов, она вызванивала ледяные мелодии, острые и колючие, как звон хрустальных бокалов в умелых руках, созывая и маня к себе всех вокруг. Дети тотчас же сели и все разом, словно подсолнухи к солнцу, повернули головы в сторону тележки.

— Хотите мороженого? — спросила миссис Бентли и окликнула: — Эй, сюда!

Тележка остановилась, звякнули монетки, и в руках у миссис Бентли очутились бруски душистого льда. Дети с полным ртом поблагодарили ее и принялись с любопытством разглядывать — от башмаков на пуговицах до седых волос.

— Дать вам немножко? — спросил мальчик.

— Нет, детка. Я уже старая, и мне ничуть не жарко. Я, наверно, не растаю даже в самый жаркий день, — засмеялась миссис Бентли.

Со сладкими сосульками в руках дети поднялись на тенистое крыльцо и уселись рядышком на ступеньку.

— Меня зовут Элис, это Джейн, а это — Том Сполдинг.

— Очень приятно. А я — миссис Бентли. Когда-то меня звали Элен.

Дети в изумлении уставились на нее.

— Вы не верите, что меня звали Элен? — спросила миссис Бентли.

— А я не знал, что у старух бывает имя, — жмурясь от солнца, ответил Том.

Миссис Бентли сухо засмеялась.

— Он хочет сказать, старух не называют по имени, — пояснила Джейн.

— Когда тебе будет столько лет, сколько мне сейчас, дружок, тебя тоже никто не станет называть Джейн. Стариков всегда величают очень торжественно — только «мистер» или «миссис», не иначе. Люди помоложе не хотят называть старуху Элен. Это звучит очень легкомысленно.

— А сколько вам лет? — спросила Элис.

— Ну, я помню даже птеродактиля, — улыбнулась миссис Бентли.

— Нет, правда, сколько?

— Семьдесят два.

Дети задумчиво пососали свои ледяные лакомства.

— Да-а, уж это старая так старая, — сказал Том.

— А ведь я чувствую себя так же, как тогда, когда была в вашем возрасте, — сказала миссис Бентли.

— В нашем?

— Конечно. Когда-то я была такой же хорошенькой девчуркой, как ты, Джейн, и ты, Элис. — Дети молчали.

— В чем дело?

— Ни в чем.

Джейн поднялась на ноги.

— Как, неужели вы уже уходите? Даже не доели мороженое… Что-нибудь случилось?

— Мама всегда говорит, что врать нехорошо, — заметила Джейн.

— Конечно, нехорошо. Очень плохо, — подтвердила миссис Бентли.

— И слушать, когда врут, — тоже нехорошо.

— Кто же тебе соврал, Джейн? — Джейн взглянула на миссис Бентли и смущенно отвела глаза.

— Вы.

— Я? — Миссис Бентли засмеялась и приложила сморщенную руку к тощей груди. — Про что же?

— Про себя. Что вы были девочкой. — Миссис

Бентли выпрямилась и застыла.

— Но я и правда была девочкой, такой же, как ты, только много лет назад.

— Пойдем, Элис. Том, пошли.

— Постойте, — сказала миссис Бентли. — Вы что, не верите мне?

— Не знаю, — сказала Джейн. — Нет, не верим.

— Но это просто смешно! Ведь ясно же: все когда-то были молодыми!

— Только не вы, — потупив глаза, чуть слышно шепнула Джейн, словно про себя. Ее палочка от мороженого упала в лужицу ванили на крыльце.

— Ну, конечно, мне было и восемь, и девять, и десять лет, так же, как всем вам.

Девочки хихикнули, но, спохватившись, тотчас умолкли.

Глаза миссис Бентли сверкнули.

— Ладно, не могу я целое утро спорить без толку с маленькими глупышами. Ясное дело, мне тоже когда-то было десять лет, и я была такая же глупая.

Девочки засмеялись. Том смущенно поежился.

— Вы просто шутите, — все еще смеясь, сказала Джейн. — По правде, вам никогда не было десяти лет, да?

— Ступайте домой! — вдруг крикнула миссис

Бентли, ей стало невтерпеж под их взглядами. — Нечего тут смеяться!

— И вас вовсе не зовут Элен?

— Разумеется, меня зовут Элен!

— До свиданья! — сквозь смех крикнули девочки, убегая по лужайке; Том поплелся за ними. — Спасибо за мороженое!

— Я и в классы играла! — крикнула им вдогонку миссис Бентли, но их уже не было.

Весь день после этого миссис Бентли яростно громыхала чайниками и кастрюлями, с шумом готовила свой скудный обед и то и дело подходила к двери в надежде поймать этих дерзких дьяволят — уж наверно они бродят где-нибудь поблизости и смеются. Впрочем… если она и увидит их снова, что им сказать? Да и с какой стати они занимают ее мысли?

— Подумать только, — сказала миссис Бентли, обращаясь к изящной фарфоровой чашечке, расписанной букетиками роз. — В жизни еще никто не сомневался, что и я когда-то была девочкой. Это глупо и жестоко. Я ничуть не горюю, что я уже старая… почти не горюю. Но отнять у меня детство — ну уж нет!

Ей казалось — дети бегут прочь под дуплистыми деревьями, унося в холодных пальцах ее

юность, незримую как воздух.

После ужина миссис Бентли, сама не зная зачем, с бессмысленным упорством наблюдала, как ее руки, точно пара призрачных перчаток на спиритическом сеансе, собирают в надушенный носовой платок некие необходимые предметы. Потом она вышла на крыльцо и простояла там, не шевелясь, добрых полчаса.

Наконец, внезапно, точно спугнутые ночные птицы, мимо пронеслись дети, но оклик миссис Бентли остановил их на лету:

— Что, миссис Бентли?

— Поднимитесь ко мне на крыльцо, — приказала она. Девочки повиновались, следом поднялся и Том.

— Что, миссис Бентли?

Они старательно нажимали на слово «миссис», как будто это и было ее настоящее имя.

— Я хочу показать вам несколько очень дорогих мне вещей.

Миссис Бентли развернула надушенный узелок и сперва заглянула в него сама, точно ожидала найти там нечто удивительное и для себя. Потом вынула маленькую круглую гребенку, на ней поблескивали фальшивые бриллиантики.

— Я носила ее в волосах, когда мне было девять

лет, — объяснила она.

Джейн повертела гребенку в руке.

— Очень мило.

— Покажи-ка! — закричала Элис.

— А вот крохотное колечко, я носила его, когда мне было восемь лет, — продолжала миссис Бентли. — Видите, теперь оно не лезет мне на палец. Если посмотреть на свет, видна Пизанская башня, кажется, что она вот-вот упадет.

— Ну покажи мне, Джейн!

Девочки передавали колечко друг другу, и наконец оно очутилось на пальце у Джейн.

— Смотрите, оно мне как раз! — воскликнула она.

— А мне — гребенка! — изумилась Элис.

Миссис Бентли вынула из платка несколько камешков.

— Вот, — сказала она. — Я в них играла, когда была маленькая.

Она подбросила камешки, и они упали на крыльцо причудливым созвездием.

— А теперь взгляните. — И старуха торжествующе подняла вверх раскрашенную фотографию, свой главный козырь. Фотография изображала миссис Бентли семи лет от роду, в желтом, пышном, как бабочка, платье, с золотистыми кудрями,

синими-пресиними глазами и пухлым ротиком херувима.

— Что это за девочка? — спросила Джейн.

— Это я!

Элис и Джейн впились глазами в фотографию.

— Ни капельки не похоже, — просто сказала Джейн. — Кто хочешь может раздобыть себе такую карточку.

Они подняли головы и долго вглядывались в морщинистое лицо.

— А у вас есть еще карточки, миссис Бентли? — спросила Элис. — Какие-нибудь попозже? Когда вам было пятнадцать лет, и двадцать, и сорок, и пятьдесят?

И девочки торжествующе захихикали.

— Я вовсе не обязана ничего вам показывать, — сказала миссис Бентли.

— А мы вовсе не обязаны вам верить, — возразила Джейн.

— Но ведь эта фотография доказывает, что и я была девочкой!

— На ней какая-то другая девочка, вроде нас. Вы ее у кого-нибудь взяли.

— Я и замужем была!

— А где же мистер Бентли?

— Он давно умер. Если бы он был сейчас здесь,

он бы рассказал вам, какая я была молоденькая и хорошенькая в двадцать два года.

— Но его здесь нету, и ничего он не может рассказать, и ничего это не доказывает.

— У меня есть брачное свидетельство.

— А может, вы его тоже у кого-нибудь взяли. Нет, вы найдите такого человека, чтоб сказал, что видел вас много-много лет назад и вам было десять лет, — вот тогда я поверю, что вы в самом деле были молодая. — И Джейн даже зажмурилась, уверенная в своей правоте.

— Тысячи людей видели меня в то время, но они уже умерли, дурочка, или больны, или живут в других городах. А в вашем городе я не знаю ни души, я ведь совсем недавно тут поселилась, и никто здесь не видел меня молодой.

— Ага, то-то! — И Джейн подмигнула Тому и Элис. — Никто не видел!

— Да погоди же! — Миссис Бентли схватила девочку за руку. — Таким вещам верят без всяких доказательств. Когда-нибудь вы будете такие же старые, как я. И вам тоже люди не станут верить. Они скажут: «Нет, эти старые вороны никогда не были ласточками, эти совы не могли быть иволгами, эти попугаи не были певчими дроздами». Да, да, придет день — и вы станете такими же, как я!

— Ну нет, — ответили девочки. — Ведь правда этого не может быть? — спрашивали они друг друга.

— Вот увидите, — сказала миссис Бентли. А про себя думала: господи боже, дети есть дети, а старухи есть старухи, и между ними пропасть. Они не могут представить себе, как меняется человек, если не видели этого собственными глазами.

— Вот ты, — обратилась она к Джейн, — неужели ты не замечала, что твоя мама с годами меняется?

— Нет, — ответила Джейн. — Она всегда была такая, как теперь.

И это правда. Когда живешь все время рядом с людьми, они не меняются ни на йоту. Вы изумляетесь происшедшим в них переменам, только если расстаетесь надолго, на годы. И миссис Бентли вдруг показалось, что она целых семьдесят два года мчалась в грохочущем черном поезде, и вот наконец поезд остановился у вокзала и все кричат:

«Ты ли это, Элен Бентли?!»

— Теперь мы, пожалуй, пойдем домой, — сказала Джейн. — Спасибо за колечко, оно мне в самый раз.

— Спасибо за гребенку, она очень красивая.

— Спасибо за карточку той девочки.

— Погодите! — закричала миссис Бентли им вслед (они уже сбегали по ступенькам). — Отдайте! Это все мое!

— Не надо, — попросил Том, догоняя девочек. — Отдайте.

— Нет, она все это украла. Это все вещи какой-то девочки, а она их просто украла. Спасибо! — еще раз крикнула Элис.

Миссис Бентли кричала, звала, но они исчезли, точно мотыльки в ночи.

— Простите, — сказал Том. Он снова стоял на лужайке и глядел на миссис Бентли. Потом и он ушел.

«Они унесли мое колечко, и мою гребенку, и фотографию, — думала миссис Бентли; она стояла на крыльце и вся дрожала. — И ничего не осталось, совсем ничего! Ведь это была часть моей жизни!»

Ночью, лежа среди своих сундуков и безделушек, она долгие часы не смыкала глаз. Она обводила взглядом тщательно сложенные в стопки лоскуты, игрушки и страусовые перья и говорила вслух:

— Да полно, мое ли все это?

Может быть, просто старуха пытается уверить

себя, что и у нее было прошлое? В конце концов, что минуло, того больше нет и никогда не будет. Человек живет сегодня. Может, она и была когда-то девочкой, но теперь это уже все равно. Детство миновало, и его больше не вернуть.

В комнату дохнул ночной ветер. Белая занавеска трепетала на темной трости, что стояла у стены рядом со всякой всячиной, копившейся долгие годы. Порыв ветра качнул трость, и она с негромким стуком упала прямо в пятно лунного света на полу. Сверкнул золотой набалдашник. Это была парадная трость ее покойного мужа. Казалось, он указывает ею сейчас на миссис Бентли, как это бывало, когда они — очень редко! — ссорились и он увещевал ее своим мягким, печальным и рассудительным голосом.

— Дети правы, — сказал бы он ей. — Они у тебя ничего не украли, дорогая. Все это уже не принадлежит тебе. Оно принадлежало той, другой тебе, и это было так давно.

Господи, подумала миссис Бентли. И тут, словно зашипел валик старинного фонографа под стальной иголкой, она ясно услышала свой разговор с мужем. Мистер Бентли, такой подтянутый, даже немного чопорный, с розовой гвоздикой на безукоризненном лацкане, говорил ей:

— Дорогая, ты никак не можешь понять, что время не стоит на месте. Ты всегда хочешь оставаться такой, какой была прежде, а это невозможно: ведь сегодня ты уже не та. Ну зачем ты бережешь эти старые билеты и театральные программы? Ты потом будешь только огорчаться, глядя на них. Выкинь-ка их лучше вон.

Но она упрямо хранила все билеты и программы.

— Это не поможет, — говорил мистер Бентли, попивая свой чай. — Как бы ты ни старалась оставаться прежней, ты все равно будешь только такой, какая ты сейчас, сегодня. Время гипнотизирует людей. В девять лет человеку кажется, что ему всегда было девять и всегда так и будет девять. В тридцать он уверен, что всю жизнь оставался на этой прекрасной грани зрелости. А когда ему минет семьдесят — ему всегда и навсегда семьдесят. Человек живет в настоящем, будь то молодое настоящее или старое настоящее; но иного он никогда не увидит и не узнает.

Это был один из немногих и очень дружеских споров в их мирной семейной жизни. Джон никогда не одобрял ее склонности собирать памятки о прошлом.

— Будь тем, что ты есть, поставь крест на том,

чем ты была, — говорил он. — Старые билеты — обман. Беречь всякое старье — только пытаться обмануть себя.

Был бы он жив сегодня, что бы он сказал?

— Ты бережешь коконы, из которых уже вылетела бабочка, — сказал бы он. — Старые корсеты, в которые ты уже никогда не влезешь. Зачем же их беречь? Доказать, что ты была когда-то молода, невозможно. Фотографии? Нет, они лгут. Ведь ты уже не та, что на фотографиях.

— А письменные показания под присягой?

— Нет, дорогая, ведь ты не число, не чернила, не бумага. Ты — не эти сундуки с тряпьем и пылью. Ты — только та, что здесь сейчас, сегодня, сегодняшняя ты.

Миссис Бентли кивнула. Ей стало легче дышать.

— Да, я понимаю… Понимаю.

Трость с золотым набалдашником поблескивала в лунных бликах на ковре.

— Утром я со всем этим покончу, — сказала миссис Бентли, обращаясь к трости. — Отныне я буду только тем, что я есть сегодня. Да, решено, так и будет.

И она уснула.

Утро настало зеленое, солнечное, в дверь уже

осторожно стучались обе девочки.

— У вас есть еще что-нибудь для нас, миссис Бентли? Еще какие-нибудь вещи той девочки?

Миссис Бентли повела их из прихожей в библиотеку.

— Возьми вот это. — И она протянула Джейн платье, в котором когда-то, в пятнадцать лет, играла дочь мандарина. — И это, и вот это. — Она отдала калейдоскоп и увеличительное стекло. — Берите все, что хотите, — говорила миссис Бентли. — Книги, коньки, куклы, все… Все это ваше.

— Наше?!

— Только ваше. И вот что: помогите мне в одном деле, я собираюсь развести на заднем дворе большой костер. Нужно вынуть все из сундуков и выбросить всякий хлам, пусть его забирает старьевщик. Все это уже не мое. Ничего нельзя сохранить навеки.

— Мы поможем, — сказали девочки.

Миссис Бентли повела их на задний двор. Она захватила коробку спичек, девочки несли по охапке всякой всячины.

И потом все лето обе девочки и Том часто сидели в ожидании на ступеньках крыльца миссис Бентли, как птицы на жердочке. А когда слыша-

лись серебряные колокольчики мороженщика, дверь отворялась и из дома выплывала миссис Бентли, погрузив руку в кошелек с серебряной застежкой, и целых полчаса они оставались на крыльце вместе, старуха и дети, и смеялись, и лед таял, и таяли шоколадные сосульки во рту. Теперь наконец они стали добрыми друзьями.

— Сколько вам лет, миссис Бентли?

— Семьдесят два.

— А сколько вам было пятьдесят лет назад?

— Семьдесят два.

— И вы никогда не были молодая и никогда не носили лент и вот таких платьев?

— Никогда.

— А как вас зовут?

— Миссис Бентли.

— И вы всю жизнь прожили в этом доме?

— Всю жизнь.

— И никогда не были хорошенькой?

— Никогда.

— Никогда-никогда за тысячу миллионов лет? — В душной тишине летнего полудня девочки пытливо склонялись к старой женщине и ждали ответа.

— Никогда, — отвечала миссис Бентли. — Никогда-никогда за тысячу миллионов лет.

— Ты приготовил блокнот, Дуг?

— Конечно! — И Дуглас хорошенько полизал карандаш.

— Что у тебя там уже записано?

— Все обряды.

— Четвертое июля, и как делают вино из одуванчиков, и еще всякая чепуха, вроде того, как на веранду вешают качели, да?

— Вот тут сказано, когда я в это лето первый раз ел эскимо — первого июня тысяча девятьсот двадцать восьмого года.

— Какое же это лето, это еще весна.

— Все равно, это было в первый раз, потому я и записал. Купил новые теннисные туфли — двадцать пятого июня. В первый раз ходил босиком по траве — двадцать шестого июня. Бим-бом, бири-бом — побежали босиком! А про тебя что записать, Том? Еще что-нибудь «в первый раз»? Какой-нибудь чудной обряд, может, про каникулы, вроде того, что ловили крабов в ручье или поймали водяного паука-скорохода?

— Еще никто на свете не поймал водяного скорохода. Знаешь ты такого человека, который его поймал? Ну-ка, подумай!

— Думаю.

— И что?

— Правильно. Никто не поймал. И не поймает, наверно. Они уж очень быстрые.

— Да не в том дело. Их просто не бывает, — сказал Том. Еще чуть подумал и убежденно кивнул головой. — Вот то-то и оно, их просто нет на свете и никогда не было. А запиши вот что…

Он наклонился и пошептал брату на ухо.

Дуглас все записал.

Потом они оба это перечитали.

— Чтоб мне провалиться! — воскликнул Дуглас. — А я и не додумался! Вот это да! Ясно, как апельсин: старики никогда не были детьми.

— А правда, это как-то грустно? — задумчиво сказал Том. — И уж тут ничем не поможешь.

— Похоже, в городе полно машин, — сказал на бегу Дуглас. — У мистера Ауфмана — Машина счастья, у мисс Ферн и мисс Роберты — Зеленая машина. А у тебя что, Чарли?

— Машина времени, — пропыхтел Чарли Вудмен и обогнал Дугласа. — Вот честное-пречестное.

— И на ней можно съездить в прошлое и в будущее? — спросил Джон Хаф, легко обходя их обоих.

— Только в прошлое, нельзя же все сразу. Стоп, приехали.

Чарли Вудмен остановился у живой изгороди. Дуглас всмотрелся в старый дом.

— Да ведь тут живет полковник Фрилей! Ну уж нет, тут не будет никаких машин. Он, во-первых, никакой не изобретатель, а потом, если бы он и изобрел, да не что-нибудь, а Машину времени, мы бы давным-давно про это узнали.

Чарли и Джон на цыпочках поднялись по ступенькам крыльца. Дуглас только презрительно фыркнул и покачал головой, но с места не двинулся.

— Ну и не ходи, раз ты такой упрямый осел, — сказал Чарли. — Правильно, полковник Фрилей не изобрел Машину времени, а только он тоже ее хозяин, и она всегда здесь. Мы просто дураки, что раньше ее не разглядели. Будь здоров, Дуглас Сполдинг, оставайся тут, тебе же хуже.

Чарли взял Джона под руку, точно вел даму, открыл затянутую сеткой дверь веранды и вошел. Дверь не хлопнула.

Дуглас придержал ее и молча последовал за друзьями.

Чарли прошел через всю веранду, постучал и отворил дверь в дом. Все трое, вытянув шеи, заглянули через длинную темную переднюю в комнату, где свет был зеленоватый, тусклый и ка-

кой-то водянистый, точно в подводной пещере.

— Полковник Фрилей! — Молчание.

— Он не очень-то хорошо слышит, — шепнул Чарли. — Он говорил: «Прямо входи и покричи погромче». Полковник!

Ничего. Только откуда-то сверху, крутясь, сыпалась пыль и оседала на винтовой лестнице. Потом из той подводной комнаты-пещеры донесся легкий шорох.

Мальчики осторожно прошли через прихожую и заглянули в комнату — там только и было что старик да кресло. И чем-то они походили друг на друга — оба такие тощие и костлявые, что, кажется, сразу видны все суставы и сочленения, видно, где прикрепляются мышцы и сухожилия, а где планки и шарниры. А еще в комнате были грубый дощатый пол, голые стены и потолок и очень много тишины.

— Он совсем как мертвый, — прошептал Дуглас.

— Нет, это он придумывает, куда бы еще съездить попутешествовать, — негромко и очень гордо сказал Чарли. — Полковник!

Один из двух темных предметов в комнате шевельнулся — это и был полковник; он подслеповато поморгал, вгляделся и расплылся в

широчайшей беззубой улыбке.

— Чарли!

— Полковник, это Дуглас и Джон, они пришли, чтобы…

— Рад вам, ребята. Садитесь, садитесь. — Мальчики неловко уселись на пол.

— Но где же… — начал было Дуглас. Чарли поспешно ткнул его локтем в бок.

— Ты о чем? — спросил полковник Фрилей.

— Он хотел сказать, где же толк, если мы сами будем говорить. — Чарли украдкой подмигнул Дугласу, потом улыбнулся полковнику. — Нам совсем нечего сказать, полковник. Лучше вы расскажите нам что-нибудь.

— Берегись, Чарли. Мы, старики, только и ждем случая поговорить. Только попроси — и пойдем трещать, будто старый ржавый лифт: закряхтел да и пополз вверх с этажа на этаж.

— Чин Линсу, — словно невзначай сказал Чарли.

— Как? — переспросил полковник.

— Бостон, — подсказал Чарли. — Девятьсот десятый год.

— Бостон, девятьсот десятый… — Полковник нахмурился. — Ну да, конечно, Чин Линсу!

— Да, сэр, полковник Фрилей.

— Дайте-ка мне вспомнить… — Старик невнятно забормотал, голос его словно уносился вдаль, над безмятежными водами тихого озера… — Дайте-ка мне вспомнить…

Мальчики ждали.

Полковник глубоко вздохнул, еще помедлил…

— Первое октября десятого года, тихий прохладный осенний вечер, театр варьете в Бостоне… Да, так оно и было. Народу — битком, и все ждут. Оркестр, трубы, занавес! Чин Линсу, великий восточный маг и чародей! Вот он, на сцене. А вот я, в середине первого ряда. Он кричит: «Фокус с пулей! Кто хочет попробовать?» Мой сосед встает и идет к сцене. «Осмотрите ружье, — говорит Чин Линсу. — Теперь пометьте пулю. Вот так. Теперь стреляйте меченой пулей из этого самого ружья прямо мне в лицо, а я буду стоять на другом конце сцены и поймаю пулю зубами!»

Полковник Фрилей перевел дух и умолк.

Дуглас глядел на него во все глаза, изумленный и зачарованный. Джон Хаф и Чарли совсем оцепенели. Старик снова заговорил, он сидел неподвижно, точно каменный, только губы шевелились.

— «Готовься, цельсь, пли!» — кричит Чин Линсу. Трах! Гремит ружье. Трах! Чин Линсу

вскрикивает, шатается, падает, лицо залито кровью. Шум, гам, ад кромешный, все вскакивают на ноги. Что-то неладно с ружьем. Кто-то говорит: «Мертв». И верно. Мертв. Ужасно, ужасно… Никогда не забуду… Лицо точно алая маска, занавес быстро опускается, женщины плачут… Девятьсот десятый год… Бостон… Театр варьете… Бедняга… Бедняга…

Полковник Фрилей медленно открывает глаза.

— Бог ты мой, полковник, — говорит Чарли. — Вот уж здорово так здорово. А теперь хорошо бы про Поуни Билла.

— Про Поуни Билла?

— Вы тогда еще были в прериях, давно, в восемьсот семьдесят пятом…

— Поуни Билл… — Полковник ощупью двигался во тьме. — Тысяча восемьсот семьдесят пятый… Да, мы с Поуни Биллом ждем на пригорке, в самом сердце прерии… «Шш-ш, — говорит Поуни Билл. — Слушай!» Прерия — как огромная сцена, все готово, пора начинаться грозе. Раскат грома. Сначала глухой. Еще раскат. На этот раз ближе, громче. И во всю ширь прерии, насколько хватает глаз, надвигается зловещая бурая туча, полная черных молний, — стелется низко-низко, миль пятьдесят в ширину, миль пятьдесят в дли-

ну, миля в высоту и всего на дюйм от земли. А я стою на пригорке и кричу: «Господи, помилуй!» Земля бьется, точно обезумевшее сердце, ребятки, точно сердце, охваченное ужасом. Я трясусь как осиновый лист. Земля дрожит. Трах-тарарах, грохочет гром. Так и громыхает. Ох, как она гремела, эта гроза, и все надвигалась, наступала и весь мир закрыла эта туча. «Это они!» — кричит Поуни Билл. И туча эта была не туча, а песок! Не пар, не дождь, нет, а песок, его взмело со всей прерии, с высохшей жухлой травы, он был как мука самого тонкого помола, как цветочная пыльца, и так и сверкал на солнце, потому что теперь и солнце появилось в небе. Я опять как закричу… Отчего? Да оттого, что эту пыль будто адское пламя пронизало, будто занавес отдернули на свету — и тут я их увидал, клянусь вам, увидал своими глазами! То было великое войско древних прерий — бизоны и буйволы!

Полковник умолк; когда тишина стала невыносимой, он продолжал:

— Головы — точно кулаки великана-негра, туловища — как паровозы. Будто на западе выстрелили двадцать, пятьдесят, двести тысяч пушек, и снаряды сбились с пути и мчатся, рассыпая огненные искры, глаза у них как горящие

угли, и вот сейчас они с грохотом канут в пустоту…

Пыль взметнулась к небу, смотрю — развеваются гривы, проносятся горбатые спины — целое море, черные косматые волны вздымаются и опадают… «Стреляй! — кричит Поуни Билл. — Стреляй!» А я стою и думаю — я ж сейчас как божья кара… и гляжу, а мимо бешеным потоком мчится яростная силища, точно полночь среди дня, точно нескончаемая похоронная процессия, черная и сверкающая, горестная и невозвратимая, а разве можно стрелять в похоронную процессию, как вы скажете, ребята? Разве это можно? В тот час я хотел только одного — чтобы песок снова скрыл от меня эти черные, грозные силуэты судьбы, как они сталкиваются и бьются друг о друга в диком смятении. И представьте, ребята, пыль и правда осела и скрыла миллион копыт, которые подняли весь этот гром, вихрь и бурю. Поуни Билл, выругался да как стукнет меня по руке! Но я был рад, что не тронул эту тучу или силу, которая скрывалась в ней, ни единой крупинкой свинца. Так бы все и стоял и смотрел, как само время катит мимо на громадных колесах, под покровом бури, что подняли бизоны, и уносится вместе с ними в вечность.

Час, три, шесть часов прошло, пока буря не унеслась за горизонт к людям, не таким добрым, как я. Поуни Билл куда-то исчез, я остался один, я совсем оглох и словно окаменел. Потом пошел, сто миль на юг шел до ближайшего города, и не слышал человеческих голосов, и рад был, что не слышу. Хотелось, чтоб в ушах еще звучал этот гром. Я и сейчас его слышу, особенно летом, вот в такие дни, как нынче, когда над озером стеной стоит дождь… устрашающий, ни на что не похожий грохот… Вот бы и вам когда-нибудь его услыхать…

В полумраке большой нос полковника Фрилея чуть просвечивал, словно белая фарфоровая чашка, в которую налили очень слабого и чуть теплого апельсинового чая.

— Он заснул? — спросил наконец Дуглас.

— Нет, — ответил Чарли. — Просто перезаряжает свои батареи.

Полковник дышал часто и неглубоко, как будто запыхался от долгого бега. Потом он открыл глаза.

— Да, сэр? — восторженно сказал Чарли.

— Здравствуй, Чарли! — И полковник недоуменно улыбнулся остальным ребятам.

— Это Дуглас, а вот это — Джон, — сказал Чар-

ли.

— Рад познакомиться, мальчики. — Мальчики поздоровались.

— Но где же… — начал снова Дуглас.

— Ох и дурак же ты! — Чарли ткнул Дугласа в бок, потом повернулся к полковнику: — Вы говорили, сэр…

— Я что-то говорил? — пробормотал старик.

— Про войну Севера и Юга, — вполголоса подсказал Джон Хаф. — Он ее помнит?

— Помню ли я гражданскую войну? — встрепенулся полковник. — Ну еще бы! — Голос его задрожал, и он снова закрыл глаза. — Все, все помню, вот только… на чьей же стороне я сражался?

— А какого цвета у вас был мундир?.. — спросил Чарли.

— Цвета начинают путаться, — прошептал полковник. — Они тускнеют. Я вижу рядом солдат, но уже давно не помню, какие на них шинели и кепи — серые или синие. Я родился в штате Иллинойс, учился в Вирджинии, женился в Нью-Йорке, дом построил в Теннесси, а теперь, под конец жизни, слава богу, опять здесь, в Гринтауне. Теперь вы понимаете, почему у меня все цвета перепутались?

— Но ведь вы помните, по какую сторону гор

дрались? — Чарли говорил совсем тихо. — Солнце вставало справа от вас или слева? Вы шли к Канаде или к Мексике?

— Иногда солнце вроде бы вставало со стороны моей здоровой руки, правой, а иногда — из-за левого плеча. И шли мы то туда, то сюда. Тому теперь уж лет семьдесят. За такой долгий срок немудрено и позабыть, с какой стороны всходило солнце.

— Ну а победы вы какие-нибудь помните? Выиграли же вы хоть какое-нибудь сражение?

— Нет, не припомню, — словно откуда-то издалека прозвучал голос старого полковника. — Никто никогда ничего не выигрывает. В войне вообще не выигрывают, Чарли. Все только и делают, что проигрывают, и кто проиграет последним, просит мира. Я помню лишь вечные проигрыши, поражение и горечь, а хорошо было только одно — когда все кончилось. Вот конец — это, можно сказать, выигрыш, Чарльз, но тут уж пушки ни при чем. Хотя вы-то, конечно, не про такие победы хотели услыхать, правда?

— Антайтем, — сказал Джон Хаф. — Спроси его про Антайтем.

— Я там был.

У мальчиков заблестели глаза.

— Булл Ран, спроси его про Булл Ран…

— Я там был, — очень тихо сказал полковник.

— А как насчет Шайло?

— Я всю жизнь его вспоминаю и говорю себе: стыд и срам, что такое красивое название сохранилось только в старой военной хронике.

— Ну, значит, про Шайло. А форт Самтер?

— Я видел там первые клубы порохового дыма, — мечтательно сказал полковник. — Многое приходит на память, очень многое… Помню песни: «На Потомаке нынче тихо, солдаты мирно спят; под осеннею луною палатки их блестят…» Помню, помню и дальше: «На Потомаке нынче тихо, лишь плещет волна; часовым убитым не встать ото сна…» А когда они капитулировали, мистер Линкольн вышел на балкон Белого дома и попросил оркестр сыграть «Будьте на страже…» А потом одна леди из Бостона как-то ночью сочинила песню, которая будет жить тысячу лет:

«Видели мы воочию — господь наш нисходит с неба; он попирает лозы, где зреют гроздья гнева…» По ночам я, сам не знаю отчего, начинаю шевелить губами и пою про себя:

«Слава вам, слава, воины Дикси! Стойте на страже родных побережий…» и «Когда герои наши с победой возвратятся, их увенчают лавры, их

встретит гром оваций…» Сколько песен! Их пели обе стороны, ночной ветер относил их то на юг, то на север… «Мы идем, отец наш, Авраам, триста тысяч воинов идут», «Станем лагерем, ребята, разобьем палатки…», «Ура, ура, несем свободы знамя…»

Голос старого вояки постепенно затих.

Мальчики долго не шевелились. Потом Чарли повернулся к Дугласу и спросил:

— Ну что, да или нет?

Дуглас два раза шумно вздохнул и ответил:

— Конечно, да. — Полковник открыл глаза.

— Что — да? — спросил он.

— Конечно, вы — Машина времени, — пробормотал Дуглас.

Полковник долго смотрел на мальчиков. Потом спросил почти со страхом:

— Так вот как вы меня называете?

— Да, так, сэр.

— Да, сэр.

Полковник медленно откинулся на спинку кресла, посмотрел на мальчиков, потом на свои руки, потом уставился поверх мальчишечьих голов на голую стену.

Чарли встал.

— Пожалуй, нам пора. Всего хорошего, полков-

ник, спасибо вам.

— Что? Да, всего хорошего, ребята.

Дуглас, Джон и Чарли на цыпочках направились к двери.

Они прошли мимо полковника, прямо перед ним, но он их словно и не видел.

Когда они вышли на улицу, из окна второго этажа раздалось:

— Эй!

Все трое вздрогнули и задрали головы.

— Да, сэр.

Полковник высунулся из окна и помахал им рукой.

— Я думал о том, что вы мне сказали, ребята.

— Да, сэр.

— Вы совершенно правы! Как это мне самому не пришло в голову? Машина времени, право слово, ну, конечно, Машина времени!

— Да, сэр.

— Всего доброго, мальчики. Приходите когда вздумается, в любой час.

В конце улицы они обернулись — полковник все еще махал им рукой из окна. Они помахали ему в ответ, всем троим стало как-то тепло и приятно. Потом пошли дальше.

— Пф-ф, пффф, — запыхтел Джон. — Сейчас уеду

в прошлое, за двенадцать лет. Ду-у-у-у-у! Пффф, пффф.

— Ага, верно, — сказал Чарли, оглядываясь на тихий дом. — А вот за сто лет не уедешь.

— Да, за сто не могу, — задумчиво согласился Джон. — Вот это было бы путешествие! Вот это Машина!

С минуту они шагали в молчании, глядя себе под ноги. Потом перед ними оказался забор.

— Кто перепрыгнет последний, тот девчонка, — сказал Дуглас.

И всю остальную дорогу домой они называли Дугласа Дорой.

Том проснулся далеко за полночь и увидел, что Дуглас поспешно пишет что-то в своем блокноте при свете карманного фонарика.

— Дуг, что случилось?

— Как что? Все случилось! Я подсчитываю свои удачи, Том. Вот смотри: Машина счастья не получилась, так? Но мне наплевать, у меня все равно целый год уже расписан. Если надо побегать по главным улицам Гринтауна, чтобы поглядеть вокруг и подсмотреть, что делается в мире, у меня есть трамвай. А если надо покрутиться где-нибудь по окраинам — стучусь к мисс Роберте и мисс Ферн, они заряжают батареи своего элек-

трического автомобильчика — и поехали! Надо побегать по проулкам или перепрыгнуть через забор и посмотреть, что там делается, за заборами, за домами, за садами, — пожалуйста, на то есть новехонькие теннисные туфли. Значит, так: туфли. Зеленый автомобильчик и трамвай. Чего мне еще надо? Но и это не все, Том. Слушай: я хочу пробраться в такое место, куда никому другому не пробраться, никто до этого и не додумается. Если я отправлюсь в тысяча восемьсот девяностый год, потом перескочу в тысяча восемьсот семьдесят пятый, а потом — в тысяча восемьсот шестидесятый, я как раз поспею на экспресс полковника Фрилея! Вот слушай, что я про это пишу: «Может быть, старики никогда не были детьми, хоть миссис Бентли и спорит, но маленькие они были или большие, а кто-нибудь из них наверняка стоял у Аппоматокса летом тысяча восемьсот шестьдесят пятого года». И у таких зрение — как у индейцев, и они видят назад много дальше, чем мы с тобой когда-нибудь увидим вперед.

— Звучит здорово. Дуг. А что это значит? — Дуглас продолжал писать.

— Это значит, что они — настоящие путешественники, нам с тобой нипочем с ними не сравниться. Если уж очень повезет, мы сможем

путешествовать лет сорок, ну пятьдесят, а для них это пустяки. Вот кто ездит девяносто лет, девяносто пять, сотню, тот самый настоящий путешественник.

Фонарик мигнул и погас.

Братья тихо лежали в лунном свете.

— Том, — шепнул Дуглас. — Мне непременно надо испробовать все эти пути. Увидеть все, что только можно. Но главное — мне надо навещать полковника Фрилея хоть раз в неделю, а может, и два, и три раза. Он лучше всех других Машин. Он говорит, а ты знай слушай. И чем больше он говорит, тем больше хочется присмотреться ко всему, что есть вокруг, и все-все разглядеть, все, что можно. Он говорит — ты, мол, едешь в таком особенном, необыкновенном поезде — и верно, так оно и есть! Он и сам в нем ездил, и все знает. А теперь мы с тобой едем по той же дороге, только еще дальше, и надо столько всего увидеть, и понюхать, и потрогать! Вот и нужно, чтобы полковник Фрилей нас подтолкнул и сказал: мол, глядите в оба, запоминайте все-все, каждую секунду! Помнить надо все, что только есть на свете. А потом когда-нибудь сам будешь старый-старый, и к тебе придут ребята, и ты им тоже поможешь, как полковник нам помогает.

Вот как оно получается, Том, и мне надо побольше его слушать и почаще пускаться с ним в самые дальние путешествия.

Том помолчал. В темноте он старался разглядеть лицо брата. Потом спросил:

— Дальние путешествия. Ты это сам придумал?

— Может, да, а может, и нет.

— Дальние путешествия, — прошептал Том.

— Одно я точно знаю, — сказал Дуглас, закрывая глаза. — От этого почему-то тоска берет, как-то одиноко становится.

Бац!

Хлопнула дверь. На чердаке со старых письменных столов и книжных шкафов взметнулась пыль. Две старушки навалились на дверь чердака, стараясь запереть ее покрепче. Казалось, у них над головами взмыла вверх тысяча голубей. Старушки согнулись, точно под тяжкой ношей, чтобы их не задели громко хлопающие крылья. Потом выпрямились, удивленно раскрыли рты. Нет, это не голуби, это от страха оглушительно стучат их собственные сердца… Стараясь перекричать этот гром, они заговорили:

— Что мы наделали! Бедный мистер Куотермейн!

— Мы, наверно, его убили! И наверно, кто-

нибудь это видел и погнался за нами. Давай посмотрим.

Мисс Ферн и мисс Роберта выглянули в затянутое паутиной чердачное окошко. Внизу, озаренные солнцем, по-прежнему росли дубы и вязы, точно и не случилось страшного несчастья. Мальчишка прошел мимо по тротуару, вернулся, еще раз прошел мимо и, задрав голову, посмотрел вверх.

На чердаке старушки взглянули друг на друга, будто пытались разглядеть свои лица в быстром ручье.

— Полиция!

Но внизу никто не барабанил во входную дверь, никто не кричал: «Именем закона!»

— Что это за мальчишка?

— Дуглас, Дуглас Сполдинг! Батюшки мои, это он пришел попросить нас прокатить его на Зеленой машине! Он ничего не знает. Наша собственная гордыня нас погубила. Гордыня и эта электрическая штуковина!

— И тот ужасный коммивояжер из Гампорт Фолса. Это он во всем виноват со своими уговорами.

Уговоры, разговоры, точно теплый дождик стучит по крыше.

Им вдруг вспомнился другой день, другой полдень. Они сидят на своей увитой плющом веранде, обмахиваются белыми веерами, а перед ними полные тарелки прохладного, вздрагивающего лимонного желе.

И вот из слепящего солнечного блеска, сверкающая, великолепная, точно карета сказочного принца, возникла…

ЗЕЛЕНАЯ МАШИНА!

Она скользила. Она что-то нашептывала, ласково, точно морской ветерок. Изящная, словно кленовый лист, свежая, словно ключевая вода, она мурлыкала как кошка, величаво выступая в знойных полуденных лучах. А в машине — коммивояжер из Гампорт Фолса, его напомаженную голову осеняет панама. Машина на резиновом ходу, она мягко и ловко скользит по выжженному солнцем добела тротуару; вот она, жужжа, подлетает прямо к нижней ступеньке крыльца, вихрем разворачивается и замирает. Выскочил коммивояжер, поскорей надвинул панаму на лоб, спасаясь от солнца. В тени широких ее полей блеснула улыбка.

— Меня зовут Уильям Тара! А это… (он нажал грушу, раздался отрывистый лай)… это сигнал. — Он приподнял черные, блестящие, как шелк,

подушки. — Здесь — аккумуляторные батареи! (Пахнуло свежестью, как после грозы.) — Вот стартер. Сюда ставят ноги. Это — тент, защита от солнца. А все вместе — Зеленая машина!

Старушки на темном чердаке вздрогнули, вспоминая все это. Глаза у них были закрыты.

— И почему мы не закололи его вязальными спицами!

— Ш-ш! Слышишь?

Внизу кто-то стучался в дверь. Потом стук прекратился. Через двор прошла женщина и скрылась в соседнем доме.

— Да это Лавиния Неббс, и в руках у нее пустая чашка. Наверно, хотела занять у нас сахару.

— Обними меня, мне страшно.

Они опять зажмурились. И вновь замелькали воспоминания. Старая соломенная шляпа на кованом сундуке вдруг шевельнулась, точно ею помахал тот коммивояжер из Гампорт Фолса.

— Чайку прямо с ледника? Спасибо, с удовольствием выпью.

В тишине слышно было, как он глотал прохладительное питье. Потом уставился на старушек, точно доктор, который с помощью своего круглого зеркала заглядывает вам в глаза, в нос и в горло.

— Уважаемые дамы, обе вы — весьма энергичные особы. Это сразу видно. Восемьдесят лет для вас — чистые пустяки! (Он пренебрежительно щелкнул пальцами.) Но имейте в виду: настанут трудные времена, вам будет некогда, ужасно некогда, и вам понадобится друг; друг в беде — истинный друг, не так ли? И этим другом станет для вас двухместная Зеленая машина!

И он устремил сверкающий взор на свой удивительный товар — глаза у него тоже были зеленые, стеклянные, точно у чучела лисы. Машина блестела на солнце, новенькая, еще пахнущая краской, и ждала их; удобная, уютная, точно козетка из гостиной, поставленная на колеса.

— В ней спокойно, как на пуховой перине. — Его дыханье мягко касалось их лиц. — Послушайте. Ни звука, ни шороха! Все электрическое. Надо только каждый вечер перезаряжать батареи у себя в гараже.

— А вдруг она… то есть… — Младшая сестра отпила глоток ледяного чая. — А не может она убить нас током?

— Совершенно исключено!

Он кинулся в машину, улыбаясь во весь рот, зубы его сверкали; когда поздно вечером возвращаешься домой, так улыбается навстречу

реклама зубного порошка.

— В гости, на чашку чая! — Машина описала грациозный круг, точно тур вальса. — В клуб, поиграть в бридж. Провести вечер с друзьями. На праздник. На званый обед. На день рождения. На завтрак «Дочерей американской революции». — Машина упорхнула, с мягким рокотом покатила прочь, точно готовая скрыться навсегда, но тут же неслышно развернулась на своих резиновых шинах и подкатила к крыльцу. Коммивояжер сидел гордый тем, что так прекрасно понимает женскую натуру. — Управлять ею легко. Трогается с места и тормозит изящно и бесшумно. Не требует водительских прав. В жаркие дни ее продувает ветерком. Да что говорить — не машина, а мечта! — Машина скользила мимо крыльца, взад и вперед, а он сидел, закинув голову, самозабвенно закрыв глаза, напомаженные волосы его развевались по ветру.

Потом он устало и почтительно взошел по ступеням на веранду, держа панаму в руке, оглянулся и посмотрел на машину, блистательно выдержавшую все испытания, как смотрит верующий на алтарь с детства знакомой церкви.

— Сударыни, — сказал он вкрадчиво. — Двадцать пять долларов единовременно, и потом,

на протяжении двух лет, по десять долларов в месяц.

Ферн первой сошла с крыльца и села в машину. Конечно, ей было страшновато. Но у нее чесались руки. Наконец она подняла руку и отважилась нажать резиновую грушу сигнала.

Раздался отрывистый лай.

Роберта восторженно взвизгнула и перегнулась через перила крыльца.

Коммивояжер ликовал вместе с ними. Он свел старшую сестру с крыльца, шумно восторгался машиной и в то же время доставал перо и шарил в своей панаме в поисках какого-нибудь клочка бумаги.

— Вот так мы ее и купили, — вспоминала теперь на чердаке мисс Роберта, сама ужасаясь столь дерзкому поступку. — Все это надо было предвидеть! Да я-то всегда считала, что в этой машине есть что-то сумасбродное, как в карусели, которую привозит с собой бродячий цирк.

— Но ты же знаешь, у меня уже столько лет болит нога, — точно оправдываясь, возразила Ферн. — Да и ты всегда устаешь, когда ходишь пешком. И мне казалось, что ездить в машине — это так утонченно, так величественно. Будто в старину, когда женщины носили кринолины.

Они словно плыли по воздуху! И наша Зеленая машина тоже плыла, так ровно и величаво!

Точь-в-точь маленькая лодочка, управлять на диво легко — знай себе поворачивай рукоятку, только и всего.

Ах, какая это была чудесная, упоительная неделя — волшебные дни, полные золотого света: машина, жужжа, проплывает по тенистому городу, словно лодка по сонной, недвижной реке, а ты сидишь, гордо выпрямившись, улыбаешься встречным знакомым, невозмутимо выбрасываешь морщинистую руку при каждом повороте, а на перекрестках выжимаешь из резиновой груши хриплый лай; порой берешь прокатиться Дугласа или Тома Сполдинга или еще какого-нибудь мальчишку из тех, что, весело болтая, бегут рядом с машиной. Предельная скорость — пятнадцать неспешных и приятнейших миль в час. Так они катили сквозь летнее солнце и сквозь тени, а мимо проплывали деревья, бросая на их лица мимолетные пятна и блики, и вновь машина появлялась и вновь исчезала, точно древний призрак на колесах.

— И надо же, чтобы сегодня… — прошептала Ферн. — Ах, надо же!

— Это был несчастный случай.

— Да, но мы удрали, а это уже преступление. Это случилось сегодня. Пахло кожаными подушками сиденья и еще их собственными привычными старыми духами, которыми за десятки лет пропахло все их белье и платье, — этот запах струился вслед, когда Зеленая машина бесшумно двигалась по маленькому, оглушенному зноем городку.

Все произошло очень быстро. Улицы накалил зной, поэтому в полдень, когда укрыться от палящего солнца можно было только в тени деревьев, что нависали из соседних садов, машина мягко вкатилась на тротуар и дошла до угла, сигналя изо всех сил. И вдруг, точно чертик из коробочки, перед ней неизвестно откуда вырос мистер Куотермейн.

— Осторожно! — взвизгнула мисс Ферн.

— Осторожно! — взвизгнула мисс Роберта.

— Осторожно! — взвизгнул мистер Куотермейн.

Старушки в ужасе ухватились друг за друга, хотя хвататься нужно было, конечно, за тормоза.

Устрашающий глухой удар. Зеленая машина покатила дальше в ярком солнечном свете, под тенистыми каштанами, мимо яблонь, на которых уже наливались яблоки. Один только раз

старушки оглянулись — и то, что они увидели, наполнило их души несказанным ужасом.

Куотермейн лежал на тротуаре, немой и неподвижный.

— Дожили! — горестно говорила теперь мисс Ферн, сидя на чердаке, где сгущалась тьма. — Ох, почему мы не остановились! Зачем мы удрали!

— Ш-ш! — Обе прислушались Внизу опять кто-то стучался в дверь. Потом стук прекратился, и в тусклом свете сумерек по лужайке прошел мальчик.

— Это только Дуглас Сполдинг — наверно, хотел еще разок прокатиться.

И обе тяжко вздохнули.

Проходили часы. Солнце клонилось к закату.

— Мы торчим здесь целый день, — устало сказала наконец Роберта. — Но не можем же мы просидеть на чердаке три недели, пока все забудут, что случилось.

— Мы просто умрем с голоду.

— Что же нам делать? Как ты думаешь, кто-нибудь видел и выследил нас?

Они поглядели друг на друга.

— Нет. Никто не видел.

Город затихал, во всех домишках зажигались огни. Снизу доносился запах политой травы и

стряпни — всюду готовили ужин.

— Пора ставить мясо на плиту, — сказала мисс Ферн. — Через десять минут вернется Фрэнк.

— Очень страшно идти вниз.

— Если Фрэнк увидит, что нас нет, он позвонит в полицию. Тогда будет еще хуже.

За окном быстро темнело. Теперь они уже и друг друга не могли разглядеть в туманной мгле.

— Как ты думаешь, он умер? — спросила мисс Ферн.

— Мистер Куотермейн? — Молчание.

— Кто же еще…

Роберта ответила не сразу:

— Посмотрим в вечерней газете. — Они открыли дверь чердака и опасливо оглядели лестницу.

— Если Фрэнк узнает, он отнимет у нас Зеленую машину… А в ней так приятно ездить… видишь весь город, и прохладный ветерок обдувает лицо…

— А мы ему не скажем.

— Не скажем?

Поддерживая друг дружку, они спустились по скрипучим ступеням, то и дело останавливаясь, чтобы прислушаться. Добрались до кухни, заглянули в кладовую, испуганными глазами посмотрели во все окна и наконец принялись

поджаривать бифштекс. Минут пять прошло в молчании, потом Ферн грустно подняла глаза на Роберту.

— Я вот все думаю. Мы старые и немощные, а признаваться в этом не хочется даже самим себе. Мы стали опасны для общества. И виноваты, что удрали…

— Как же быть?

И вновь воцарилось молчание; забыв о шипящей сковородке, сестры глядели друг на друга.

— Мне кажется… — Ферн долго не отрывала глаз от стены, — нельзя нам больше ездить на Зеленой машине.

Высохшей рукой Роберта взяла со стола тарелку, да так и застыла.

— Никогда?

— Никогда.

— Но разве… разве мы должны… совсем от нее отказаться? Может, хотя бы оставим ее у себя? — Ферн подумала.

— Это, наверно, можно.

— Все-таки утешение. Пойду выключу батареи. — В дверях Роберта столкнулась с Фрэнком, их младшим братом, всего пятидесяти шести лет от роду.

— Добрый вечер, сестрички! — крикнул он.

Роберта молча протиснулась мимо него в дверь и, вышла в теплый сумрак. Брат принес газету, Ферн тотчас выхватила ее у него из рук. Вся дрожа, она лихорадочно шарила глазами по страницам и наконец со вздохом отдала газету Фрэнку.

— Сейчас видел на улице Дугласа Сполдинга. Он просил передать вам обеим, чтобы вы не беспокоились: он все видел и все в порядке. Что это, собственно, значит?

— Понятия не имею.

Ферн отвернулась и принялась искать в кармане носовой платок.

— Ох уж эти мне мальчишки!

Фрэнк долго смотрел в спину сестре, потом пожал плечами.

— Похоже, что скоро ужинать? — спросил он добродушно.

— Да, сейчас. — Ферн накрыла на стол.

Во дворе рявкнул автомобильный рожок. Раз, другой, третий — глухо, словно издалека.

— Это еще что такое? — Фрэнк выглянул из окна кухни в темноту. — Что там делает Роберта? Смотри-ка, она сидит в Зеленой машине и тычет пальцем в резиновую грушу.

В темноте негромко и жалобно, точно крик раненого звереныша, раздался сигнал машины,

потом еще и еще.

— Что это с ней стряслось? — строго спросил Фрэнк.

— Оставь ее в покое! — закричала Ферн. Фрэнк удивленно поднял брови. Через минуту в кухню тихонько, ни на кого не глядя, вошла Роберта, и все трое сели ужинать.

Раннее-раннее утро, первые отсветы зари на крыше за окном. Все листья на деревьях вздрагивают, отзываясь на малейшее дуновение предрассветного ветерка. И вот где-то далеко, из-за поворота, на серебряных рельсах появляется трамвай, покачиваясь на четырех маленьких серо-голубых колесах, ярко-оранжевый, как мандарин. На нем эполеты мерцающей меди и золотой кант проводов, и желтый звонок громко звякает, едва допотопный вожатый стукнет по нему ногой в стоптанном башмаке. Цифры на боках трамвая и спереди ярко-золотые, как лимон. Сиденья точно поросли прохладным зеленым мхом. На крыше словно занесен огромный кучерской бич, на бегу он скользит по серебряной паутине, протянутой высоко среди деревьев. Из всех окон, будто ладаном, пахнет всепроникающим голубым и загадочным запахом летних гроз и молний.

Трамвай звенит вдоль окаймленных вязами улиц, и обтянутая серой перчаткой рука вожатого опять и опять легко касается рукояток.

В полдень вожатый остановил вагон посреди квартала и высунулся в окошко.

— Эй!

И, завидев призывный взмах серой перчатки, Дуглас, Чарли, Том, все мальчишки и девчонки всего квартала кубарем скатились с деревьев, побросали в траву скакалки (они так и остались лежать, словно белые змеи) и побежали к трамваю; они расселись по зеленым плюшевым сиденьям, и никто с них не спросил никакой платы. Мистер Тридден, вожатый, положил перчатку на щель кассы и повел трамвай дальше по тенистым улицам, громко звякая звонком.

— Эй, — сказал Чарли, — куда это мы едем?

— Последний рейс, — ответил Тридден, глядя вперед на бегущие высоко над вагоном провода. — Больше трамвая не будет. Завтра пойдет автобус. А меня отправляют на пенсию, вот как. И потому покатайтесь напоследок, всем бесплатно! Осторожно!

Он рывком повернул медную рукоятку, трамвай заскрипел и круто свернул, описывая бесконечную зеленую петлю, и само время на всем

белом свете замерло, только Тридден и дети плыли в его удивительной машине куда-то далеко по нескончаемой реке…

— Напоследок? — переспросил удивленный Дуглас. — Да как же так? И без того все плохо. Зеленой машины больше нет, ее заперли в гараже, и никак ее оттуда не вызволишь! И мои новые теннисные туфли уже становятся совсем старыми и бегут все медленнее и медленнее! Как же я теперь буду? Нет, нет… Не могут они убрать трамвай! Что ни говори, автобус — это не трамвай! Он и шумит не так, рельсов у него нет, проводов нет, он и искры не разбрасывает, и рельсы песком не посыпает, да и цвет у него не такой, и звонка нет, и подножку он не спускает!

— А ведь верно, — подхватил Чарли. — Страх люблю смотреть, когда трамвай спускает подножку: прямо гармоника!

— То-то и оно, — сказал Дуглас.

Тут они приехали на конечную остановку; впрочем, серебряные рельсы, заброшенные восемнадцать лет назад, бежали среди холмов дальше. В тысяча девятьсот десятом году трамваем ездили на загородные прогулки в Чесмен-парк, прихватив огромные корзины с провизией. С тех пор рельсы так и остались ржаветь среди

холмов.

— Тут-то мы и поворачиваем назад, — сказал Чарли.

— Тут-то ты и ошибся! — И мистер Тридден щелкнул выключателем аварийного генератора. — Поехали!

Трамвай дернулся, скользнул по рельсам и, оставив позади городские окраины, покатился вниз, в долину; он то вылетал на душистые, залитые солнцем лужайки, то нырял под тенистые деревья, где пахло грибами. Там и сям колею пересекали ручейки, солнце просвечивало сквозь листву деревьев, точно сквозь зеленое стекло. Вагон, тихонько бормоча что-то про себя, скользил по лугам, усеянным дикими подсолнухами, мимо давно заброшенных станций, усыпанных, словно конфетти, старыми трамвайными билетами, и вслед за лесным ручьем устремлялся в летние леса.

— Трамвай — он даже пахнет по-особенному, — говорил Дуглас. — Ездил я в Чикаго на автобусах: у тех какой-то чудной запах.

— Трамвай чересчур медленно ходит, — сказал мистер Тридден. — Вот они и хотят пустить по городу автобусы. И ребят в школу тоже станут возить в автобусах.

Трамвай взвизгнул и остановился. Тридден достал сверху корзину с провизией. Ребята восторженно завопили и вместе с ним потащили корзину на траву, туда, где ручей впадал в молчаливое озеро; здесь некогда поставили эстраду для оркестра, но теперь она совсем рассыпается в прах.

Они сидели на траве, уплетали сандвичи с ветчиной, свежую клубнику и яркие, блестящие, точно восковые, апельсины, и Тридден рассказывал, как много лет назад тут по вечерам на разукрашенной эстраде играл оркестр: музыканты изо всех сил трубили в медные трубы, толстенький дирижер, обливаясь потом, усердно размахивал палочкой; в высокой траве гонялись друг за другом ребятишки и мелькали светлячки, а по дощатым мосткам, постукивая каблуками, будто играя на ксилофоне, расхаживали дамы в длинных платьях с высокими стоячими воротниками и мужчины в таких тесных накрахмаленных воротничках, что того и гляди задохнутся. Вот они, остатки этих мостков, только за долгие годы доски сгнили и превратились в какое-то деревянное месиво… Озеро лежало молчаливое, голубое и безмятежное, рыба медленно плескалась в блестящих камышах, а вагоново-

жатый все говорил и говорил, и детям казалось, что они перенеслись в какое-то иное время, и мистер Тридден стал вдруг на диво молодой, а глаза у него горят, как голубые электрические лампочки. День проплывал сонно, бестревожно, никто никуда не спешил, со всех сторон их обступал лес, и даже солнце словно остановилось на одном месте, а голос Триддена поднимался и падал, и стрекозы сновали в воздухе, рисуя золотые невидимые узоры. Пчела забралась в цветок и жужжит, жужжит… Трамвай стоял молчаливый, точно заколдованный орган, поблескивая в солнечных лучах. Ребята ели спелые вишни, а на руках у них все еще держался медный запах трамвая. И когда теплый ветерок шевелил на них одежду, от нее тоже остро пахло трамваем.

В небе с криком пролетела дикая утка.

Кто-то вздрогнул.

— Ну, пора домой. Отцы да матери, чего доброго, подумают, что я вас украл.

В темном трамвае было тихо и прохладно, совсем как в аптеке, где торгуют мороженым. Присмиревшие ребята повернули зашуршавшие плюшевые сиденья и уселись спиной к тихому озеру, к заброшенной эстраде и дощатым мосткам, которые выстукивают под ногами звонкую

деревянную песенку, если идти по ним вдоль берега в иные страны.

Дзинь! Под башмаком Триддена звякнул звонок, и трамвай помчался назад, через луг с увядшими цветами, откуда уже ушло солнце, через лес и город, и тут кирпич, асфальт и дерево словно стиснули его со всех сторон; Тридден затормозил и выпустил детей на тенистую улицу.

Чарли и Дуглас последними остановились у открытой двери перед тем, как ступить на складную подножку; они жадно втягивали ноздрями воздух, пронизанный электричеством, и не сводили глаз с перчаток Триддена на медной рукоятке.

Дуглас погладил зеленый бархатный мох сиденья, еще раз оглядел серебро, медь, темно-красный, как вишня, потолок.

— Что ж… До свиданья, мистер Тридден!

— Всего вам доброго, ребята.

— Еще увидимся, мистер Тридден.

— Еще увидимся.

Раздался негромкий вздох — это закрылась дверь. Подобрав длинный рубчатый язык складной подножки, трамвай медленно поплыл в послеполуденный зной, ярче солнца, весь оранжевый, как мандарин, сверкающий золотом рукояток и цифр на боках; свернул за дальний

угол и скрылся, пропал из глаз.

— Развозить школьников в автобусах! — презрительно фыркнул Чарли, шагая к обочине тротуара. — Тут уж в школу никак не удастся опоздать. Придет за тобой прямо к твоему крыльцу. В жизни никуда теперь не опоздаешь! Вот жуть, Дуг, ты только подумай!

Но Дуглас стоял на лужайке и ясно видел, что будет завтра: рабочие зальют рельсы горячим варом, и потом никто даже не догадается, что когда-то здесь шел трамвай. Но нет, теперь и ему, и этим ребятам еще много-много лет не забыть этой серебряной дорожки, сколько ни заливай рельсы варом. Настанет такое утро, осенью ли, зимой или весной: проснешься — и, если не подойти к окну, а остаться в теплой, уютной постели, непременно услышишь, как где-то далеко, чуть слышно бежит и звенит трамвай.

И в изгибе утренней улицы, на широком проезде, между ровными рядами платанов, вязов и кленов, в тишине, перед тем как начнется дневная жизнь, услышишь за домом знакомые звуки. Словно затикают часы, словно покатится с грохотом десяток железных бочонков, словно затрещит крыльями на заре большущая-пребольшущая стрекоза. Словно карусель, словно

маленькая электрическая буря, словно голубая молния, мелькнет и исчезнет, зазвенит звонком трамвай! И зашипит, точно сифон с содовой, опуская и вновь поднимая подножку, — и вновь качнется сон, вагон поплывет своим путем, все дальше и дальше по своим потаенным, давно схороненным рельсам к какой-то своей потаенной, давно схороненной цели…

— После ужина погоняем мяч? — спросил Чарли.

— Ясно, — ответил Дуглас. — Ясно, погоняем.

Сведения о Джоне Хафе, двенадцати лет, очень просты и умещаются всего в нескольких строках. Он умел отыскивать следы не хуже любого следопыта из племени Чокто или Чероки, умел прыгнуть прямо с неба, как шимпанзе с лианы, оставался под водой целых две минуты и успевал за это время проплыть вниз по течению пятьдесят ярдов. Мячи, которые ему подавали, он отбивал прямо в яблони, и весь урожай градом сыпался на землю. Он перескакивал через шестифутовые заборы фруктовых садов, взлетал вверх по ветвям и, наевшись досыта персиков, спускался вниз быстрей всех мальчишек. Он умел смеяться на бегу. Свободно держался на лошади. Не зади-

ра. Добрая душа. Волосы у него были темные и кудрявые, а зубы — белые как сахар. Он помнил наизусть слова всех ковбойских песен и охотно учил им всякого, кто об этом попросит. Знал названия всех полевых цветов, знал, когда взойдет и зайдет луна, когда будет прилив и когда — отлив. Словом, для Дугласа Сполдинга Джон Хаф был единственным божеством, которое обитало в Гринтауне, штат Иллинойс, в двадцатом веке.

И вот они с Дугласом бродят за городом, день снова теплый и круглый, точно камешек, высоко над головой небо, точно голубая опрокинутая чаша, ручьи сверкающими прозрачными струями разбегаются по белым камням. Да, славный день, ясный и чистый, как огонек свечи.

Дуглас шел сквозь этот день и думал, что так будет вечно. Все вокруг такое отчетливое, законченное. И запах травы летит прямо перед тобой со скоростью света. Рядом — друг, свистит, как скворец, подбрасывает ногой комья земли, а ты скачешь, точно верхом на лихом скакуне, по пыльной тропинке и звенишь в кармане ключами, и все необыкновенно хорошо, все можно потрогать рукой; все в мире близко и понятно, и так будет всегда.

Такой чудесный был этот день, и вдруг облако

поползло по небу, закрыло солнце — и все вокруг потемнело.

Джон Хаф уже несколько минут негромко что-то говорил. И вот Дуглас остановился на тропинке как вкопанный и посмотрел на него.

— Погоди-ка: что ты сказал?

— Ты же слышал, Дуг.

— Ты и вправду… ты уезжаешь?

— У меня уж и билет есть на поезд, вот он, в кармане. Ду-ду-у! Пф-пф-пф, чух-чух-чух… Ду-ду-ду-у-у-у!

Голос его постепенно замер.

Джон торжественно вынул из кармана железнодорожный билет, и оба посмотрели на желто-зеленый кусочек картона.

— Сегодня! — сказал Дуглас. — Вот так раз! Мы ж сегодня собирались играть в светофор и в статуи! Как же это так вдруг? Весь век ты тут был, в Гринтауне. А теперь вдруг сорвешься и уедешь? Да как же это?!

— Понимаешь, — сказал Джон, — папа нашел работу в Милуоки. Но до сегодняшнего дня мы еще толком не знали…

— Вот так раз! Да ведь на той неделе баптисты устраивают пикник, а потом в День труда будет большой карнавал, а там канун Дня всех святых…

Неужели твой папа не может подождать?

Джон покачал головой.

— Вот беда, — сказал Дуглас. — Дай-ка я сяду. — Они уселись под старым дубом, на той стороне холма, откуда виден был город, и стали глядеть вниз, а солнце разбрасывало вокруг них широкие дрожащие тени, и под деревом было прохладно, как в пещере. Вдали, внизу лежал город, окутанный дымкой зноя, все окна в домах были распахнуты настежь. Дугласу хотелось кинуться туда, в город, — может, он всей тяжестью, всей громадой, всеми домами замкнет Джона в кольцо и не даст ему вырваться и удрать.

— Но мы же друзья, — беспомощно сказал он.

— И всегда останемся друзьями.

— Ты сможешь приезжать хоть разок в неделю, а?

— Папа говорит, только раза два в год. Все-таки восемьдесят миль.

— Восемьдесят миль — это совсем недалеко! — закричал Дуглас.

— Конечно, совсем недалеко, — подтвердил Джон Хаф.

— У моей бабушки есть телефон. Я буду тебе звонить. Или, может, мы соберемся в твои края. Вот будет здорово! — Джон долго молчал.

— Давай поговорим про что-нибудь, — предложил Дуглас.

— Про что?

— Тьфу, пропасть! Да ведь раз ты уезжаешь, нужно поговорить про миллион всяких вещей. Про что мы бы говорили через месяц и еще позже. Про богомолов, про цеппелины, про акробатов и шпагоглотателей! Давай как будто ты уже опять приехал — ну хоть про то, как кузнечики плюются табаком.

— Знаешь, это чудно, но мне что-то не хочется говорить про кузнечиков.

— А раньше хотелось!

— Да. — Джон упорно смотрел вдаль. — Наверно, сейчас просто не время.

— Джон, что с тобой? Ты какой-то странный…

Джон сидел с закрытыми глазами, лицо его искрилось.

— Дуг, ты знаешь дом Терлов? Помнишь, какой у него верх?

— Конечно.

— Там маленькие круглые окошки, и в них разноцветные стекла — они всегда были такие?

— Конечно.

— Ты уверен?

— Старые-престарые окошки, они всегда были

такие, еще когда нас с тобой на свете не было.

— А я их никогда не замечал, — сказал Джон. — А сегодня шел мимо, поднял голову, смотрю — стекла цветные! Дуг, да как же я их столько лет не замечал?

— У тебя были другие дела.

— Ты думаешь? — Джон повернулся и со страхом посмотрел на Дугласа. — Тьфу, пропасть, Дуг, с чего эти окаянные окошки меня так напугали? Тут и пугаться нечего, правда? Наверно, это потому, что… — Он говорил медленно, запинался и путался. — Наверно, уж если я не замечал этих окошек до самого сегодняшнего дня, значит, я, наверно, еще много чего не замечал… А с тем, что я видел, как теперь будет? Вдруг я уеду из города и потом не смогу ничего вспомнить?

— Что хочешь помнить, то всегда помнишь. Вот я два года назад ездил летом в лагерь. И там я все-все помнил.

— А вот и нет. Ты мне сам говорил. Ты просыпался ночью и никак не мог вспомнить, какое лицо у твоей мамы.

— Неправда!

— Со мной ночью так бывает, даже дома, — знаешь, как это страшно! Я другой раз ночью встану и иду в спальню к своим: они спят, а я гляжу на

них, проверяю, какие у них лица. А потом прихожу назад в свою комнату — и опять не помню! Черт возьми. Дуг, ах, черт возьми! — Джон крепко обхватил руками коленки. — Обещай мне одну вещь, Дуг. Обещай, что ты всегда будешь меня помнить, обещай, что будешь помнить мое лицо и вообще все. Обещаешь?

— Ну, это проще простого. У меня в голове есть киноаппарат. Ночью, в постели, я могу повернуть выключатель — раз! — и готово, на стенке все видно, как на экране, и ты оттуда кричишь мне и машешь рукой.

— Дуг, закрой глаза. Теперь скажи: какого цвета у меня глаза? Нет, ты не подсматривай! Ну? Какого цвета? — Дугласа бросило в пот. Веки его вздрагивали.

— Ну, знаешь, Джон, это нечестно.

— Говори!

— Карие.

Джон отвернулся.

— Вот и нет.

— Как же нет?

— А вот так. Даже непохоже. — Джон зажмурился.

— А ну-ка, повернись, — сказал Дуглас. — Открой глаза, я посмотрю.

— Что толку, — ответил Джон. — Ты уже забыл. Я ж говорю, со мной тоже так бывает.

— Да повернись ты! — Дуглас схватил друга за волосы и медленно повернул его голову к себе.

— Ну ладно… — Джон открыл глаза.

— Зеленые… — Дуглас в унынии опустил руки. — У тебя глаза зеленые… Ну и что же? Это очень похоже на карие. Почти светло-карие.

— Дуг, не ври мне.

— Ладно, — тихонько сказал Дуглас. — Не буду. — Они еще долго сидели и молчали, а другие ребята бегали по холму и кричали, и звали их.

Они мчались наперегонки вдоль железной дороги, потом открыли пакеты из оберточной бумаги и с наслаждением понюхали свой завтрак — сандвичи с поджаренной ветчиной, маринованные огурцы и разноцветные мятные конфеты. Потом опять побежали. Потом Дуглас приник ухом к горячим стальным рельсам и услыхал, как далеко-далеко, в иных землях, идут невидимые поезда и посылают ему азбукой Морзе вести сюда, под это палящее солнце. Дуглас распрямился, оглушенный.

— Джон!

Потому что Джон все еще бежал, и это было ужасно. Ведь если бежишь, время точно бежит с

тобой. Кричишь, визжишь, бегаешь наперегонки, катаешься по земле, кувыркаешься, и вдруг — хвать! — солнце уже зашло, гудит гудок вечернего поезда, и ты плетешься домой ужинать. Чуть отвернулся — и солнце уже зашло тебе за спину! Нет, есть только один-единственный способ хоть немного задержать время: надо смотреть на все вокруг, а самому ничего не делать! Таким способом можно день растянуть на три дня. Ясно: только смотри и ничего сам не делай.

— Джон!

Теперь уж от него помощи не дождешься, разве только если как-нибудь схитрить.

— Джон, сворачивай, петляй! Собьем их со следа! — И они с криком кинулись наутек под горку, обгоняя ветер, заставляя земное притяжение помогать им, и дальше — по лугам, за амбары, и наконец голоса гнавшихся за ними мальчишек замерли далеко позади.

Тогда они забрались в стог сена, оно потрескивало под ними, точно хворост костра.

— Давай ничего не делать, — сказал Джон.

— Вот и я хотел это сказать, — отозвался Дуглас.

Они сидели не шевелясь и пытались отдышаться.

Что-то тихонько тикало, словно в сене шуршало какое-то насекомое.

Оба услышали это тиканье, но не посмотрели, откуда оно доносится. Дуглас двинул рукой — теперь тикало в другом месте. Дуглас положил руку себе на колено — и вот уже тикает на колене. Он на мгновенье опустил глаза. Три часа.

Дуглас украдкой прикрыл часы другой рукой и незаметно отвел стрелки назад.

Теперь у них будет вдоволь времени как следует поглядеть на мир, почувствовать, как солнце мчится по небу, точно огненный ветер.

Но настала минута — и Джон всем телом ощутил, как переместился бесплотный груз их теней.

— Дуг, который час?

— Половина третьего.

Джон взглянул на небо.

«Не надо», — подумал Дуглас.

— Похоже, что не третьего, а четвертого, а может, и все четыре, — сказал Джон. — Бой-скаутов учат распознавать такие вещи.

Дуглас вздохнул и снова перевел стрелки.

Джон молча следил за его движениями. Дуглас поднял голову, и Джон легонько стукнул его по плечу.

Вдруг откуда-то вынырнул поезд и промчался так быстро, что Дуглас, Джон и все остальные мальчишки едва успели отскочить в сторону и заорали, грозя ему вслед кулаками. Поезд с грохотом покатил дальше по рельсам, унося в себе две сотни пассажиров, и исчез. Вихри пыли немного проводили его к югу, потом улеглись в золотистом безмолвии меж голубых рельсов. Ребята возвращались домой.

— Когда мне будет семнадцать, я поеду в Цинциннати и поступлю пожарником на железную дорогу, — объявил Чарли Вудмен.

— А у меня есть дядя в Нью-Йорке, — сказал Джим. — Я поеду в Нью-Йорк, буду печатником.

Дуглас не стал спрашивать, что задумали другие. Он уже слышал, как поют свою песнь поезда, видел лица друзей — они прижались к окнам, уплывают на вагонных площадках. Они ускользают, одно за другим. И остаются пустые пути, летнее небо, и сам он, в другом поезде, едет совсем не туда.

Земля повернулась у него под ногами, тени ребят соскользнули с травы, и вокруг потемнело.

Он проглотил ком, застрявший в горле, издал дикий вопль, замахнулся кулаком и с силой послал в небо воображаемый мяч.

— Кто прибежит домой последним, тот носорожий хвост!

С хохотом размахивая руками, они кинулись по шпалам. Джон Хаф бежал легко, совсем не касаясь земли. А Дуглас все время чувствовал под ногами землю.

В семь часов, после ужина, мальчишки стали собираться вместе; один за другим они выходили на улицу, заслышав, как хлопают двери соседних домов, а отцы и матери сердито кричали вслед, чтоб не хлопали так дверями. Дуглас, Том, Чарли и Джон стояли среди десятка других, пора было играть в прятки и в статуи.

— Во что-нибудь одно, — сказал Джон. — Потом мне надо домой. В девять уходит поезд. Кто будет водить?

— Я, — сказал Дуглас.

— В жизни не слыхал, чтобы кто сам вызвался водить, — сказал Том.

Дуглас пристально посмотрел на Джона.

— Разбегайтесь, — сказал он.

Мальчики с криком кинулись врассыпную. Джон попятился, потом повернулся и побежал вприпрыжку. Дуглас медленно считал до десяти. Дал им отбежать подальше, разделиться кто куда, замкнуться каждому в своем собственном мирке.

Когда они разогнались вовсю, так что ноги уже сами несли их, и почти скрылись из виду, он набрал полную грудь воздуха и крикнул:

— Замри!

Все окаменели.

Медленно, медленно Дуглас двинулся по лужайке туда, где в сумерках, точно железный олень, замер Джон Хаф.

Вдалеке стояли как статуи другие мальчики, руки у них подняты, на лицах застыли гримасы, одни глаза горят, точно у чучела белки.

А Джон — вот он, один, недвижимый, — никто не может прибежать или заорать вдруг и все испортить.

Дуглас обошел статую с одного боку, потом с другого. Статуя не шелохнулась. Не вымолвила ни слова. Глядела куда-то вдаль, и на губах ее застыла легкая улыбка.

Дугласу вспомнилось: несколько лет назад они ездили в Чикаго, там был большой дом, а в доме всюду стояли безмолвные мраморные фигуры, и он бродил среди них в этом безмолвии. И вот стоит Джон Хаф, и коленки и штаны у него зеленые от травы, пальцы исцарапаны, и на локтях корки от подсохших ссадин. Ноги — в теннисных туфлях, которые сейчас угомонились, словно он

обут в тишину. Этот рот сжевал за лето многое множество абрикосовых пирожков и говорил спокойные раздумчивые слова про то, что такое жизнь и как все в мире устроено. И глаза эти вовсе не слепы, как глаза статуй, а полны расплавленного зеленого золота. Темными волосами играет ветерок — то вправо отбросит, то влево… А на руках, кажется, оставил след весь город — на них пыль дорог и чешуйки древесной коры, пальцы пахнут коноплей, и виноградом, и недозрелыми яблоками, и старыми монетами, и зелеными лягушками. Уши просвечивают на солнце, они теплые и розовые, точно восковые персики, и, невидимое в воздухе, пахнет мятой его дыханье.

— Ну, Джон, — сказал Дуглас, — смотри не шевелись. Не смей даже глазом моргнуть. Приказываю: стой тут и не сходи с места ровным счетом три часа. — Губы Джона шевельнулись.

— ДУГ…

— Замри, — приказал Дуглас.

Джон снова устремил взгляд на дальний край неба, но теперь он уже не улыбался.

— Мне надо идти, — шепнул он.

— Не шелохнись! Правил, что ли, не знаешь?

— Никак не могу, мне пора домой, — сказал Джон.

Статуя ожила, опустила руки и повернула голову, чтобы посмотреть на Дугласа. Они стояли и глядели друг на друга. Остальные мальчишки тоже зашевелились и опустили затекшие руки.

— Сыграем еще разок, — сказал Джон. — Только теперь водить буду я. Разбегайтесь! — Ребята побежали.

— Замри!

Все замерли. Дуглас тоже.

— Не шевелись. Ни на волос.

Он подошел к Дугласу и остановился рядом.

— Понимаешь, иначе никак ничего не получится, — сказал он.

Дуглас глядел вдаль, в предвечернее небо.

— Еще три минуты всем застыть, как истуканам! — сказал Джон.

Дуглас чувствовал, что Джон обходит его кругом, как только что он сам обходил Джона. Потом Джон сзади легонько стукнул его по плечу.

— Ну, пока, — сказал он.

Что-то зашуршало, и Дуглас, не оборачиваясь, понял, что позади уже никого нет.

Где-то вдалеке прогудел паровоз.

Еще долгую минуту Дуглас стоял не шевелясь и ждал, чтобы утих топот бегущих ног, а он все не утихал. Джон бежит прочь, а его слышно так

громко, словно он топчется на одном месте. Почему же он не удаляется?

И тут Дуглас понял — да ведь это стучит его собственное сердце!

Стой! Он прижал руку к груди. Перестань! Не хочу я это слышать!

А потом он шел по лужайке среди остальных статуй и не знал, ожили ли и они тоже. Казалось, они все еще не двигаются. Впрочем, он и сам только еле передвигал ноги, а тело его совсем застыло и было холодное как камень.

Он уже поднялся на свое крыльцо, но вдруг обернулся и поглядел на лужайку.

На ней никого не было.!

Бац, бац, бац! — точно затрещали выстрелы. Это хлопали одна за другой входные двери по всей улице — последний закатный залп.

Самое лучшее — статуи, подумал Дуглас. Только их и можно удержать у себя на лужайке. Никогда не позволяй им двигаться. Стоит только раз позволить — и тогда с ними уже не совладаешь.

И вдруг он вскинул сжатый кулак и яростно погрозил лужайкам, улице, сгущающимся сумеркам. Он весь покраснел, глаза сверкали.

— Джон! — крикнул он. — Эй, Джон! Ты мой враг, слышишь! Ты мне не друг! Не приезжай,

никогда не приезжай! Убирайся! Ты мне враг, слышишь! Вот ты кто! Между нами все кончено, ты дрянь, вот и все, просто дрянь! Джон, ты меня слышишь? Джон!

Точно фитиль привернули еще немного в огромной, яркой лампе за городом, и небо еще чуть потемнело. Дуглас стоял на крыльце, рот его судорожно дергался, лицо кривилось. Кулак все еще грозил дому напротив. Дуглас поглядел на свою руку — она растаяла во тьме, и весь мир тоже растаял.

Дуглас поднимался в свою комнату в полнейшей темноте; он лишь чувствовал свое лицо, но не видел ничего, даже собственных кулаков, и опять и опять твердил себе:

«Я зол, как черт, я взбешен, я его ненавижу, я зол, как черт, я его ненавижу!»

Через десять минут он медленно дошел в темноте до верхней площадки лестницы.

— Том, — сказал Дуглас. — Обещай мне одну вещь, ладно?

— Обещаю? А что это?

— Конечно, ты мой брат, и, может, я другой раз на тебя злюсь, но ты меня не оставляй, будь где-нибудь рядом, ладно?

— Это как? Значит, мне можно ходить с тобой

и с большими ребятами гулять?

— Ну… ясно… и это тоже. Я что хочу сказать: ты не уходи, не исчезай, понял? Гляди, чтоб никакая машина тебя не переехала, и с какой-нибудь скалы не свались.

— Вот еще! Дурак я, что ли?

— Тогда, на самый худой конец, если уж дело будет совсем плохо и оба мы совсем состаримся — ну, если когда-нибудь нам будет лет сорок или даже сорок пять, — мы можем владеть золотыми приисками где-нибудь на Западе. Будем сидеть там, покуривать маисовый табак и отращивать бороды.

— Бороды! Ух ты!

— Вот я и говорю, болтайся где нибудь рядом и чтоб с тобой ничего не стряслось.

— Уж будь спокоен, — ответил Том.

— Да я в общем не за тебя беспокоюсь, — пояснил Дуглас. — Я больше насчет того, как бог управляет миром. — Том задумался.

— Ничего, Дуг, — сказал он наконец. — Он все-таки старается.

Она вышла из ванной, смазывая йодом палец, — она его сильно порезала, когда брала себе ломоть кокосового торта. В эту минуту по ступенькам поднялся почтальон, открыл дверь

и вошел на веранду. Хлопнула дверь. Эльмира Браун так и подскочила.

— Сэм! — закричала она, отчаянно махая коричневым от йода пальцем, чтобы не так жгло. — Я все никак не привыкну, что у меня муж — почтальон. Каждый раз, когда ты вот так входишь в дом, я пугаюсь до смерти.

Сэм Браун сконфуженно почесал в затылке; его почтовая сумка уже наполовину опустела. Он оглянулся, как будто в это славное ясное летнее утро ворвался густой туман.

— Ты что-то рано сегодня, Сэм, — заметила жена.

— Я еще пойду, — сказал он, видимо, думая о другом.

— Ну, выкладывай, что случилось? — Она подошла поближе и заглянула ему в лицо.

— Кто его знает, может — ничего, а может — очень много. Я сейчас доставил почту Кларе Гудуотер, на нашей улице…

— Кларе Гудуотер?!

— Ну, ну, не кипятись. Это были книги от фирмы «Джонсон — Смит», город Расин, штат Висконсин. И одна называлась… дай-ка вспомнить… — Он весь сморщился, потом морщинки разошлись. «Альбертус Магнус», вот как. «Одобренные, прове-

ренные, загадочные и естественные ЕГИПЕТСКИЕ ТАЙНЫ, или… — он задрал голову к потолку, словно пытаясь разобрать там слова, — белая и черная магия для человека и животного, раскрывающая запретные знания и секреты древних философов»!

— И все это для Клары Гудуотер?

— Пока я к ней шел, я успел заглянуть в первые страницы — вроде ничего худого там нет. «Скрытые тайны жизни, разгаданные знаменитым ученым, философом, химиком, натуралистом, психологом, астрологом, алхимиком, металлургом, фокусником, толкователем тайн всех магов и чародеев, а также разъяснены темные суждения всевозможных наук и искусств — простых, сложных, практических и т. д. и т. п.». Уф! Ей-богу, голова у меня — как у папы римского! Все слова помню, хоть ни черта в них не понял.

Эльмира внимательно разглядывала свой почерневший от йода палец, словно пыталась понять — чей же это он.

— Клара Гудуотер, — бормотала она.

— Я ей отдал книгу, а она поглядела мне прямо в глаза и говорит: «Ну, теперь-то я стану заправской колдуньей. В два счета получу диплом и открою дело. Буду ворожить молодым и старым,

большим и малым, оптом и в розницу». Тут она вроде засмеялась, уткнулась носом в книгу, да так и ушла в дом.

Эльмира оглядела царапину на локте, опасливо потрогала языком расшатавшийся зуб.

Хлопнула дверь. Том Сполдинг, который в это время стоял на коленях на лужайке перед домом Эльмиры Браун, поднял голову. Он долго бродил по соседству, смотрел, как поживают в разных кучах муравьи, и вдруг наткнулся на отличный, просто редкостный муравейник с широченным входом; здесь так и сновали всевозможные огненно-рыжие муравьи, одни мчались во весь дух, другие выбивались из сил, волоча свою ношу — клочок мертвого кузнечика или крошку какой-нибудь пичуги. И вдруг — хлоп! — на крыльцо выскочила миссис Браун; стоит, и вид у нее такой, будто она вот-вот упадет — похоже, она только сейчас обнаружила, что земля мчится в космическом пространстве со скоростью шестьдесят триллионов миль в секунду. А позади нее стоит мистер Браун, уж этот-то не знает никаких миль в секунду, а хоть бы и знал, так ему наверняка на них наплевать.

— Эй, Том, — позвала миссис Браун, — мне нужна моральная поддержка, и ты будешь мне

вместо жертвенного агнца. Пойдем.

И, не разбирая дороги, кинулась на улицу; по пути она давила муравьев, сбивала головки с одуванчиков, и ее острые каблуки прокалывали глубокие ямки на цветочных клумбах.

Том еще минуту постоял на коленях, разглядывая позвоночник и лопатки убегающей миссис Браун. Эти кости сказали ему красноречивее всяких слов, что тут предстоит приключение и мелодрама, — ничего такого Том от женщин не ожидал, хоть у миссис Браун и торчали над верхней губой усики, немножко похожие на усы какого-нибудь пирата. Еще через минуту он уже ее нагнал.

— Вы какая-то ужасно сердитая, миссис Браун, прямо бешеная!

— Ты еще не знаешь, что такое бешенство, мальчик.

— Осторожно! — вскричал Том. Эльмира Браун упала прямо на спящего железного пса, который украшал зеленую лужайку.

— Миссис Браун!

— Вот видишь? — Миссис Браун села. — Это все Клара Гудуотер. Колдовство!

— Колдовство?

— Ничего, ничего, мальчик. Вот и крыльцо.

Иди первым и раскидай с дороги все невидимые веревки. Позвони в этот звонок, только сейчас же отдерни руку, а не то палец у тебя почернеет, как головешка.

Том не дотронулся до звонка.

— Клара Гудуотер!

Миссис Браун нажала пуговку звонка пальцем, который был смазан йодом.

Где-то далеко в прохладных, сумрачных пустых комнатах звякнул и умолк серебряный колокольчик.

Том прислушался. Где-то еще дальше — шорох, точно пробежала мышь. В далекой гостиной шевельнулась тень — может быть, развевается от ветра занавеска.

— Здравствуйте, — произнес спокойный голос. И вдруг за сеткой от москитов появилась миссис Гудуотер, свежая, как мятная конфетка.

— Да это вы, Эльмира! И Том… Какими судьбами?..

— Не торопите меня! Вы, говорят, надумали выучиться на самую заправскую колдунью? — Миссис Гудуотер улыбнулась.

— Ваш муж не только почтальон, но и блюститель закона. Он и сюда сунул нос.

— Мой муж не суется в чужую почту!

— Он от одного дома до другого идет целых десять минут, потому что он читает все открытки и смеется. Он даже примеряет ботинки, которые присылают почтой.

— И ничего он не видел, а вы ему сказали про эти ваши книжки, что он принес.

— Да я просто пошутила! Стану колдуньей, сказала я ему, и хлоп! — Сэм удирает со всех ног, точно я стрельнула в него молнией. Говорю вам, у этого человека нет ни единой извилины в мозгу!

— Вы вчера толковали про свое колдовство и в других местах.

— Наверно, вы имеете в виду Сандвич-клуб?

— А меня туда нарочно не пригласили!

— Так ведь вы всегда навещаете в этот день свою бабушку, сударыня.

— Ну уж если б меня пригласили, я всегда могла бы уговориться с бабушкой насчет другого дня.

— Да там и не было ничего особенного, просто я сидела за столом, ела сандвич с ветчиной и маринованным огурцом и как-то между прочим сказала: «Наконец-то я получу свой диплом! Ведь я уже сколько лет учусь на колдунью!» Сказала громко, все слыхали.

— И мне сразу же передали по телефону.

— Эти новомодные изобретения — просто чу-

до! — сказала миссис Гудуотер.

— Вот вы — председательница нашего клуба «Жимолость» чуть ли не со времен Гражданской войны, так уж скажите честно: может, мы не по доброй воле вас столько раз выбирали, а вы нас колдовством принудили?

— А разве вы в этом хоть сколько-нибудь сомневаетесь, сударыня?

— Завтра опять выборы, и мне очень интересно узнать: неужели вы опять выставили свою кандидатуру и неужели вам ни капельки не совестно?

— Да, выставила, и ничуть мне не совестно. Послушайте, сударыня, я купила эти книги для моего двоюродного брата Рауля. Ему всего десять лет, и он в каждой шляпе ищет кролика. Я давно твержу ему, что искать кроликов в шляпах — гиблое дело, все равно как искать хоть каплю здравого смысла в голове у некоторых людей (у кого именно — называть не стану), но он все не унимается; вот я и решила подарить ему эти книжки.

— Хоть сто раз присягните, все равно не поверю!

— А все-таки это чистая правда. Обожаю шутить насчет всяческого колдовства. Наши дамы так и завизжали, когда я рассказала им про свое

тайное могущество. Жаль, вас там не было!

— Зато я буду там завтра, буду бороться с вами золотым крестом и поведу на вас все добрые силы, — сказала Эльмира. — А теперь скажите-ка мне, какие еще колдовские штуки есть у вас в доме?

Миссис Гудуотер указала на столик, что стоял в комнате у самой двери.

— Я покупаю разные волшебные травки. Они очень странно пахнут, и Рауль от них в восторге. Трава вот в этом мешочке называется «рута душистая», а вот эта — «копытень», а та — «сарсапарель». Здесь — черная сера, а тут, говорят, мука из молотых костей.

— Из костей! — Эльмира отпрянула назад и стукнула Тома по щиколотке. Том взвыл.

— А тут — горькая полынь и листья папоротника; полынью можно замораживать пули в ружьях, а если пожевать листья папоротника, можно летать во сне, точно летучая мышь, — так сказано в десятой главе вот этой книжечки. По-моему, для воспитания мальчиков очень полезно забивать им голову подобными вещами. Но, судя по вашему лицу, вы не верите, что у меня есть двоюродный братишка Рауль. Постойте, я дам вам его адрес, он живет в Спрингфилде.

— Ну конечно, — фыркнула Эльмира, — и как только я ему напишу, вы сядете в спрингфилдский автобус, доедете до почтамта, получите мое письмо и напишете мне каракулями ответ. Знаю я вас!

— Миссис Браун, скажите откровенно: вы хотите стать председательницей нашего клуба, да? Вот уже десять лет подряд вы этого добиваетесь. Сами выставляете свою кандидатуру. И неизменно получаете один-единственный голос — ваш собственный. Поймите же, если бы наши дамы хотели вас выбрать, они бы давным-давно за вас проголосовали. Но я же вижу, вы так и остаетесь одна, сама за себя, и ваш голос — глас вопиющего в пустыне. Знаете что? Давайте я завтра выдвину вашу кандидатуру и сама буду за вас голосовать, хотите?

— Ну тогда уж наверняка ничего не выйдет, — сказала Эльмира. — В прошлом году, как раз в самые выборы, я ужасно простудилась; надо было проводить свою предвыборную кампанию, а я как назло не могу выйти на улицу! А в позапрошлом году об эту пору я сломала ногу. Очень, знаете, странно. — Она с ненавистью глянула на хозяйку дома через москитную сетку. — И это еще не все. В прошлом месяце я шесть раз порезала палец,

десять раз расшибала коленку, два раза падала с заднего крыльца, слышите? — два раза! Еще я разбила окно, уронила четыре тарелки и вазу — я заплатила за нее целый доллар и сорок девять центов! И теперь я буду предъявлять вам счет за каждую разбитую тарелку, все равно, разобьется она у меня в доме или в его окрестностях!

— Ай-я-яй, к рождеству я совсем разорюсь, — сказала миссис Гудуотер. Она вдруг распахнула дверь и вышла на веранду. Дверь хлопнула. — Эльмира Браун, сколько вам лет?

— У вас это наверняка записано в какой-нибудь черной книге. Тридцать пять.

— А-а, как подумаешь, что вы прожили тридцать пять лет… — Миссис Гудуотер поджала губы и заморгала, погружаясь в вычисления. — Это получается примерно двенадцать тысяч семьсот семьдесят пять дней… стало быть, если считать по три в день, двенадцать с лишним тысяч суматох, двенадцать тысяч шумов из ничего и двенадцать тысяч бедствий! Что и говорить, жизнь ваша полна и богата событиями, Эльмира Браун. Вашу руку!

— Да ну вас, — отмахнулась Эльмира.

— Нет, сударыня, вы не самая неуклюжая женщина в Гринтауне, штат Иллинойс, вы всего

лишь вторая. Вы толком и сесть-то не можете — непременно наступите на кошку. Пойдете по лужайке — непременно свалитесь в колодец. Всю жизнь вы катитесь по наклонной плоскости, Эльмира Элис Браун. Почему бы вам честно в этом не признаться?

— Все мои несчастья происходят вовсе не оттого, что я неуклюжая, а только из-за вас! Как вы подойдете к моему дому ближе чем на милю, так у меня сразу кастрюля с бобами из рук валится или мне палец дернет током.

— Сударыня, в таком маленьком городишке мудрено от всех держаться за милю, хоть раз в день поневоле к каждому подойдешь поближе.

— Так вы признаетесь, что были поблизости?

— Признаюсь, что я здесь родилась, это да, но дорого бы дала, чтоб родиться в Кеноше или Зионе. Мой вам совет, Эльмира, пойдите к зубному врачу, может, он сумеет что-нибудь сделать с вашим змеиным жалом.

— Ой! — вскрикнула Эльмира. — Ой-ой-ой!

— Вы окончательно вывели меня из терпения. Прежде я ничуть не интересовалась чародейством, но теперь, пожалуй, займусь. Слушайте! Вот вы уже и невидимы! Пока вы тут стояли, я вас заколдовала. Вы совсем пропали из глаз.

— Не может этого быть!

— По совести говоря, я и раньше никак не могла вас разглядеть, — призналась колдунья.

Эльмира выхватила из кармана зеркальце.

— Да вот же я!

Присмотрелась внимательней и ахнула. Потом подняла руку над головой, точно настраивая арфу, осторожно выдернула волосок и выставила его напоказ, словно вещественное доказательство на суде.

— Ну вот! До этой самой секунды у меня в жизни не было ни единого седого волоска! — Ведьма прелюбезно улыбнулась.

— Суньте его в кувшин со стоячей водой, и наутро он обернется червяком. Нет, вы только поглядите на себя, Эльмира! Всю жизнь вы обвиняете других в том, что ноги у нас спотыкливые, а руки — крюки! Вы когда-нибудь читали Шекспира? Там есть указания для актеров: «Волнение, движение и шум». Вот это вы и есть. Волнение, движение и шум. А теперь ступайте-ка домой, не то я насажаю шишек вам на голову и прикажу всю ночь вертеться с боку на бок. Брысь отсюда!

И она замахала руками перед носом Эльмиры, точно отгоняя стаю птиц.

— Ну и мух нынче летом! — сказала она. Вошла

в дом и заперла дверь на крюк. Эльмира скрестила руки на груди.

— Лопнуло мое терпение, миссис Гудуотер, — сказала она. — В последний раз вам говорю: снимите свою кандидатуру и выходите завтра на честный бой. Я вас одолею, в председательницы выберут меня! Я приведу с собой Тома. Он хороший, добрый мальчик, чистая душа. А доброта и чистота завтра победят.

— Вы не очень-то надейтесь, что я такой уж хороший, миссис Браун, — вмешался Том. — Моя мама говорит…

— Замолчи, Том! Хороший — значит хороший. Ты будешь там по правую руку от меня, мальчик.

— Хорошо, мэм, — сказал Том.

— Если, конечно, я переживу эту ночь, — продолжала Эльмира. — Я ведь знаю, эта особа станет лепить из воска мои изображения и протыкать им сердца ржавыми иголками. Том, если ты на рассвете найдешь у меня в постели одну только огромную фигу, всю сморщенную и увядшую, ты уж поймешь, кто сорвал этот фрукт в винограднике. И тогда миссис Гудуотер будет председательницей клуба до ста девяноста пяти лет, вот увидишь!

— Что вы, что вы, сударыня! Мне уже сегодня триста пять, — сказала из-за москитной сетки миссис Гудуотер. — Меня еще в старину называли «ОНА!» — И она ткнула пальцем в сторону улицы. — Абракадабра-зимми-ти-ЭЭМ! Ну как?

Эльмира бросилась бежать.

— Завтра увидимся! — крикнула она через плечо.

— До завтра, сударыня, — сказала миссис Гудуотер. Том пожал плечами и двинулся следом за Эльмирой, на ходу скидывая с тротуара муравьев.

Эльмира бежала через улицу и вдруг взвизгнула.

— Миссис Браун! — в тревоге воскликнул Том. Из гаража ближайшего дома задом выезжала машина и проехала прямо по большому пальцу правой ноги Эльмиры.

Среди ночи Эльмира Браун поднялась: очень болела нога; она пошла в кухню, съела кусок холодного цыпленка, патом старательно составила точный список всех своих бед и несчастий.

Во-первых, болезни за прошлый год. Простуда — три раза, легкое несварение желудка — четыре, раздуло щеку — один раз; да еще приступ артрита, прострел (она принимала его за подагру),

сильный бронхит, астма в начальной стадии, какие-то пятна на руке, нарыв в ухе, из-за которого она несколько дней ходила шатаясь, как пьяная, да еще ломило спину, болела голова и тошнило. Лекарства стоили ей ДЕВЯНОСТО ВОСЕМЬ ДОЛЛАРОВ СЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ЦЕНТОВ.

Во-вторых, вещи сломанные и разбитые в доме за последний год: две лампы, шесть ваз, десять тарелок, суповая миска, два окна, шесть стаканов и один хрустальный тюльпан на люстре; кроме того, сломан стул и порвана диванная подушка. Всего на сумму ДВЕНАДЦАТЬ ДОЛЛАРОВ ДЕСЯТЬ ЦЕНТОВ.

В-третьих, сегодняшние страдания. Палец, на который наехала машина, очень болит. Желудок расстроен. Спина затекла, ноги гудят, точно не свои. В глазах багровый туман и жжение. На языке мерзкий вкус какой-то пыльной тряпки. В ушах шум и звон. Какая всему этому цена? Высчитывая и прикидывая, она пошла обратно в спальню.

За все страдания — десять тысяч долларов.

— Вот и получи их без суда, — сказала она вполголоса.

— А? — отозвался спросонок муж. Эльмира улеглась в постель.

— Я умирать не желаю.

— Как ты сказала? — переспросил муж.

— Ни за что не умру, — сказала она, глядя в потолок.

— Я всегда это говорил, — ответил муж и снова захрапел.

На другое утро Эльмира Браун встала пораньше и отправилась в библиотеку, а оттуда — в аптеку и обратно домой, так что, когда ее муж Сэм разнес всю почту по адресам и пришел в полдень домой, Эльмира уже смешивала всевозможные снадобья.

— Обед в холодильнике, — сказала она ему, помешивая в большом стакане какую-то зеленоватую кашицу.

— Господи, это еще что такое? — спросил муж. — С ВИДУ — прямо молочный коктейль, который лет сорок простоял на солнце. Тут уж вроде и плесень сверху пошла.

— Против колдовства нужно бороться колдовством.

— Уж не собираешься ли ты это пить?!

— И выпью! Выпью и пойду в клуб «Жимолость» на великие дела.

Самюэль Браун понюхал снадобье.

— Мой тебе совет — сперва взойди на крыльцо,

а уж потом пей, не то и двух ступенек не одолеешь. Что тут намешано?

— Снег с крыльев ангелов (вообще-то это ментол), чтобы остудить сжигающий человека адский огонь, — так сказано вот в этой книге, она из библиотеки. Сок свежего винограда, только-только с лозы, чтобы наперекор темным видениям мысли все равно были чистые и светлые, — это тоже сказано в книге. Еще тут есть ревень, винный камень, белый сахар, яичный белок, ключевая вода и почки клевера, в них таится добрая сила земли. И еще много всякого, не перечесть. Вот тут все записано, добро против зла, белое против черного. Уж теперь-то я ее одолею!

— Одолеешь, одолеешь! — сказал муж. — Вот только как ты узнаешь, что твоя взяла?

— Стану думать чистые, светлые мысли. И по пути захвачу Тома, он будет мне вроде как талисман.

— Бедняга он, — заметил муж. — Сама говоришь — чистая он душа, а на выборах в вашей этой «Жимолости» не сносить ему головы!

— Ничего с ним не случится, — возразила Эльмира. Она вылила булькающее зелье в банку из-под овсяных хлопьев и закрыла крышкой; потом вышла на улицу, причем — небывалый

случай! — ни разу не зацепилась платьем за гвоздь и не порвала новенькие девяностовосьмицентовые чулки. Очень этим гордая и довольная, Эльмира проследовала без всяких происшествий к дому Сполдингов, где ее ждал Том, одетый, как она велела, во все белое.

— Фу! — воскликнул Том. — Что это у вас в банке?

— Судьба, — сказала Эльмира.

— Ну разве что судьба, — ответил Том, держась шага на два впереди.

Клуб «Жимолость» был полон; дамы гляделись в зеркальце, взятое у приятельницы, оправляли юбки и спрашивали друг друга, не виднеется ли из-под платья комбинация.

В час дня по ступенькам поднялась миссис Эльмира Браун в сопровождении мальчика в белом. Он заткнул себе нос и зажмурил один глаз, так что плохо видел, куда идет. Миссис Браун поглядела на собравшихся, потом на свою банку и, открыв крышку, заглянула внутрь, но тут у нее захватило дух, и она закрыла банку, так и не выпив ни капли. Потом она двинулась в зал, а вслед плыл шорох, точно шелк шелестел, — это члены клуба шептались у нее за спиной.

Миссис Браун уселась вместе с Томом в заднем

ряду, и вид у Тома был самый разнесчастный. Одним глазом он оглядел это дамское сборище и тотчас зажмурился окончательно. Эльмира открыла банку и медленно выпила ее содержимое.

В половине второго председательница — миссис Гудуотер — стукнула молотком о стол, и все дамы умолкли; разговаривать продолжали всего лишь десятка два.

— Сударыни, — прозвучал голос миссис Гудуотер над морем шелков и кружев, на волнах которого там и сям мелькали белые и серые гребенки, — настало время перевыборов. Но прежде, мне кажется, миссис Эльмира Браун, супруга нашего известного графолога…

Слушательницы захихикали.

Эльмира толкнула Тома локтем в бок.

— Что такое «графолог»? — шепнула она.

— Не знаю, — прошипел Том; глаза у него были закрыты, и толчок локтем обрушился на него из темноты.

— … супруга, как я уже сказала, нашего известного специалиста по почеркам, Сэмюэля Брауна… (в зале опять смех)… служащего почтового ведомства Соединенных Штатов, миссис Браун желает высказаться, — продолжала миссис Гудуотер. — Прошу вас, миссис Браун!

Эльмира встала. Складной стул опрокинулся и, громко щелкнув, захлопнулся, точно медвежий капкан. От неожиданности Эльмира подскочила, зашаталась, выбивая каблуками по полу частую дробь, и еле устояла на ногах.

— Да, мне есть о чем порассказать, — провозгласила она.

Держа в одной руке пустую банку из-под овсяных хлопьев вместе с Библией, она другой рукой схватила Тома за локоть и рванулась вперед; по дороге она задевала сидящих локтями и то и дело кричала: «Поосторожнее, вы! Дайте пройти! Не мешайте!»

Наконец она добралась до помоста, повернулась и опрокинула стакан с водой; вода потекла по всему столу и закапала на пол. Эльмира злобно покосилась на миссис Гудуотер и предоставила ей вытирать воду крошечным носовым платком. Потом она торжествующе подняла пустую банку, чтобы миссис Гудуотер хорошенько ее разглядела.

— Знаете, что тут было? — шепнула она. — Теперь все это у меня внутри, сударыня. Теперь меня защищает магический круг. Ни один нож, ни один топор сквозь него не прорвется.

В зале все говорили разом и никто ее не слы-

шал.

Миссис Гудуотер кивнула и подняла обе руки, призывая к молчанию. Воцарилась тишина.

Эльмира еще крепче стиснула руку Тома. Он морщился, не открывая глаз.

— Сударыни, — сказала Эльмира, — я вам сочувствую. Я-то знаю, чего вы натерпелись за последние десять лет. Я-то знаю, почему вы голосовали за эту миссис Гудуотер. Вам надо кормить мужей, дочерей, сыновей. Вам надо укладываться в свой бюджет. Вы не можете допустить, чтобы молоко скисло, чтобы хлеб не взошел, чтобы пироги не пропеклись. Вам вовсе не хочется, чтобы ваши дети переболели подряд свинкой, ветрянкой, оспой и коклюшем. Вы не хотите, чтобы ваш муж разбил машину или налетел за городом на провод высокого напряжения и его ударило током. Но теперь всему этому пришел конец. Теперь вы можете ничего не опасаться. Не будет больше ни изжоги, ни ломоты в пояснице, потому что я принесла с собой магическое слово и сейчас мы его испробуем — изгоним бесов из этой ведьмы, которая затесалась в наш клуб.

Все стали оглядываться вокруг, но никто не заметил никакой ведьмы.

— Да ведь это ваша председательница! — за-

кричала Эльмира.

— Это я! — И миссис Гудуотер помахала залу рукой.

— Сегодня я пошла в библиотеку, — задыхаясь, продолжала Эльмира и схватилась за стол, чтобы не упасть. — Я хотела найти хоть какое-нибудь средство, чтобы защититься от нее. Ну, узнать, как избавиться от людей, которые обманывают других, как изгнать ведьму. И я нашла способ бороться за наши права. Я чувствую, как сила моя растет. Во мне сейчас волшебство разных добрых корней и всякой химии. Во мне… — Она умолкла. Пошатнулась. Потом мигнула. — Во мне винный камень, и… во мне желтые цветы травы-ястребинки и молоко, заквашенное при свете луны, и… — Она снова замолчала и с минуту подумала. Потом закрыла рот и издала какой-то странный звук, словно чревовещательница. И опять на мгновение зажмурилась, прислушиваясь к своей силе.

— Вы плохо себя чувствуете, миссис Браун? — спросила миссис Гудуотер.

— Я отлично себя чувствую, — медленно выговорила Эльмира Браун. — Я положила несколько тертых морковок, и тонко нарезанную петрушку, и еще ягоды можжевельника, и…

Она снова умолкла, точно некий внутренний голос приказал ей замолчать, и посмотрела в зал.

Все вокруг медленно закачалось: слева направо, потом справа налево.

— Корень розмарина и цвет лютика… — глухо сказала Эльмира. Потом выпустила руку Тома. Том открыл один глаз и поглядел на нее.

— Лавровый лист, лепестки настурции… — говорила она.

— Вы бы лучше сели, — посоветовала миссис Гудуотер. Одна из дам встала и открыла окно.

— … сушеный лист бетеля, лаванду и семечки дикого яблока, — сказала миссис Браун и умолкла. — Давайте скорей начинать выборы. Мне нужны голоса. Я буду считать.

— Не спешите, Эльмира, — сказала миссис Гудуотер.

— Нет, надо спешить. — Миссис Браун глубоко, судорожно вздохнула. — Помните, сударыни, больше бояться нечего. Можете смело высказать вслух все, что хотите. Голосуйте за меня, ведь вы всегда этого хотели. Голосуйте и… — Комната опять закачалась, на этот раз вверх и вниз. — Правление будет честным. Все, кто за миссис Гудуотер, скажите «да».

— Да, — сказал весь зал.

— Все, кто за миссис Эльмиру Браун? — спросила Эльмира слабым голосом.

Она проглотила ком, подкатившийся к горлу. Потом сказала одна:

— Да.

И, ошеломленная, осталась стоять на трибуне. В зале воцарилась тишина. И в этой тишине вдруг раздалось какое-то карканье. Эльмира Браун схватилась рукой за горло. Потом повернулась и мутными глазами посмотрела на миссис Гудуотер, а та преспокойно вынула из сумочки восковую куколку, утыканную ржавыми чертежными кнопками.

— Том, — сказала Эльмира, — проводи меня в дамскую комнату.

— Хорошо, мэм.

Они тронулись в путь, потом ускорили шаг и наконец пустились бежать. Эльмира бежала впереди, сквозь толпу, по проходу… Добралась до дверей и повернула налево.

— Нет, нет, Эльмира, направо, направо! — закричала миссис Гудуотер.

Эльмира свернула налево и исчезла из виду. Раздался грохот, точно по скату сыпался крупный уголь.

— Эльмира!

Все дамы забегали кругами, натыкаясь друг на друга, — точь-в-точь женская баскетбольная команда.

Одна миссис Гудуотер прямиком кинулась к двери.

На площадке лестницы стоял Том и, вцепившись руками в перила, глядел вниз.

— Сорок ступенек! — простонал он. — Донизу целых сорок ступенек!

И после, многие месяцы и годы спустя, люди рассказывали, как Эльмира Браун, словно отпетый пьяница, катилась по этим ступенькам и ни одной не пропустила на своем долгом пути вниз. Говорили, что она, видимо, в первый же миг потеряла сознание, и потому все ее мышцы были расслаблены, и она не ударялась, а катилась по ступеням мягко, как мешок. Наконец она шлепнулась у подножия лестницы, растерянно хлопая глазами и чувствуя себя гораздо лучше, ибо все, от чего ей было не по себе, осталось позади, по всей лестнице. Правда, теперь ее, точно татуировкой, сплошь покрывали ссадины и кровоподтеки. Но ни одна косточка не была сломана, руки и ноги не вывихнуты, даже сухожилия не растянуты. Два-три дня она как-то странно неподвижно

держала голову и, если надо было поглядеть по сторонам, лишь косилась краешком глаза. Но вот что главное: у подножия лестницы мигом очутилась миссис Гудуотер, и голова Эльмиры уже покоилась у нее на коленях, и она кропила эту буйную голову слезами, а вокруг, охая, ахая, рыдая и заламывая руки, собирались остальные дамы.

— Эльмира, я обещаю, я клянусь, Эльмира, если только вы останетесь живы, если вы не умрете… Эльмира, вы слышите меня? Слушайте же! С этой минуты я буду ворожить только ради добрых дел. Больше никакой черной магии, одна только белая! Если это будет зависеть от меня, вы никогда больше не упадете с лестницы, не порежете себе палец, не споткнетесь о порог. Блаженство, Эльмира, обещаю вам блаженство! Только не умирайте! Смотрите не умирайте! Смотрите, я вынимаю из куклы все кнопки. Эльмира, скажите же мне хоть слово! Ну скажите что-нибудь и сядьте! И пойдемте наверх, проголосуем все снова! Обещаю, вы будете председательницей, мы вас выбираем, даже без всякого голосования, мы все единодушно одобряем вашу кандидатуру, ведь правда, сударыни?

При этих словах все члены клуба «Жимолость»

зарыдали в голос и им пришлось ухватиться друг за друга, чтобы не упасть.

Том, все еще стоявший наверху, решил, что так плакать можно только над покойницей и миссис Браун наверняка умерла.

Он побежал вниз, но на середине лестницы столкнулся с процессией дам — вид у них был такой, точно они вырвались из самого центра динамитного взрыва.

— С дороги, мальчик!

Первой шла миссис Гудуотер, плача и смеясь.

За ней следовала миссис Эльмира Браун, смеясь и плача.

А уж за ними шествовали все сто двадцать три члена клуба «Жимолость», сами не понимая, возвращаются ли они с похорон, или отправляются на бал.

Том проводил их глазами и покачал головой.

— Теперь я им ни к чему, — сказал он. — Вовсе ни к чему.

И пока его не хватились, стал на цыпочках спускаться с лестницы и все время, до самого низа, крепко держался за перила.

— Что уж тут расписывать, — сказал Том. — Коротко и ясно: все они там просто с ума посходили. Стоят в кружок и сморкаются. А Эльмира Браун

сидит на полу под лестницей, и ничего у нее не сломано — я так думаю, у нее кости сделаны из желе, — и ведьма плачет у нее на плече, и вдруг все поднимаются вверх по лестнице и уже смеются! Видал ты когда-нибудь такое? Ну, я скорее дал деру.

Том расстегнул рубашку и снял галстук.

— Так ты говоришь, колдовство? — спросил Дуглас.

— Колдовство как пить дать!

— И ты в это веришь?

— Середка наполовинку.

— Ну и ну, чего только в нашем городе не увидишь! — И Дуглас уставился вдаль: на горизонте громоздились облака самых причудливых очертаний — воины, древние боги и духи. — Так, говоришь, чары, и восковые куклы, и иголки, и снадобья разные?

— Да снадобье-то неважнецкое, но здорово подействовало как рвотное. Э-э-э! Йок! — Том схватился за живот и высунул язык.

— Ведьмы… — пробормотал Дуглас и загадочно скосил глаза.

А потом наступает день, когда слышишь, как всюду вокруг яблонь одно за другим падают яблоки. Сначала одно, потом где-то невдалеке

другое, а потом сразу три, потом четыре, девять, двадцать, и наконец яблоки начинают сыпаться как дождь, мягко стучат по влажной, темнеющей траве, точно конские копыта, и ты — последнее яблоко на яблоне, и ждешь, чтобы ветер медленно раскачал тебя и оторвал от твоей опоры в небе, и падаешь все вниз, вниз… И задолго до того, как упадешь в траву, уже забудешь, что было на свете дерево, другие яблоки, лето и зеленая трава под яблоней. Будешь падать во тьму…

— Нет!

Полковник Фрилей быстро открыл глаза и выпрямился в своем кресле на колесах. Вскинул застывшую руку — да, телефон все еще здесь! Полковник на секунду прижал его к груди и растерянно мигнул.

— Не нравится мне этот сон, — сообщил он пустой комнате.

Наконец дрожащими пальцами он поднял трубку, вызвал междугородную и назвал номер, а потом ждал, не сводя глаз с двери своей спальни, точно опасаясь, что вот-вот ворвется орда сыновей, дочерей, внуков, сиделок и докторов и отнимет у него последнюю радость, которую он позволял своему угасающему сердцу. Много дней — или, может быть, лет? — назад, когда

оно пронзило острой болью его мышцы и ребра, он услышал этих мальчуганов внизу… как их зовут?.. Чарли, Чарли, Чак, да! И Дуглас! И Том! Он помнит! Они позвали его оттуда, издалека, из прихожей, но у них перед самым носом захлопнули дверь, и они ушли. Доктор сказал, ему нельзя волноваться. Никаких посетителей, ни в коем случае! И он слышал, как мальчики переходили улицу, он их видел, даже помахал им рукой. И они помахали ему в ответ. «Полковник… Полковник…» И теперь он сидит совсем один, и сердце его, как маленький серый лягушонок, вяло шлепает лапками у него в груди, то тут, то там.

— Полковник Фрилей, — раздалось в трубке. — Говорите, я вас соединила. Мехико, Эриксон, номер 3899. — И далекий, но удивительно ясный голос:

— Bueno.

— Хорхе! — закричал старый полковник.

— Сеньор Фрилей! Опять! Но ведь это же очень дорого!

— Ну и пусть. Ты знаешь, что надо делать.

— Si. Окно?

— Окно, Хорхе. Пожалуйста.

— Минутку, — сказал голос.

И за тысячи миль от Гринтауна, в южной

стране, в огромном многоэтажном здании, в кабинете раздались шаги — кто-то отошел от телефона. Старый полковник весь подался вперед и, крепко прижимая трубку к сморщенному уху, напряженно, до боли, вслушивался и ждал, что будет дальше.

Там открыли окно.

Полковник вздохнул.

Сквозь открытое окно в трубку ворвались шумы Мехико, шумы знойного золотого полудня, и полковник так ясно увидел Хорхе — вот он стоит у окна, а телефонную трубку выставил на улицу, под яркое солнце.

— Сеньор…

— Нет, нет, пожалуйста! Дай мне послушать!

Он слышал: ревут гудки автомобилей, скрипят тормоза, кричат разносчики, на все лады расхваливая свой товар — связки красноватых бананов и дикие апельсины.

Ноги полковника, свисавшие с кресла, невольно начали подергиваться, точно и он шагал по той улице. Веки его были плотно сомкнуты. Он шумно втягивал ноздрями воздух, словно надеясь учуять запах мясных туш, что висят на огромных железных крюках, залитые солнцем и сплошь облепленные мухами, и запах мощенных камнем

переулков, еще не просохших после утреннего дождя. Он ощущал на своих колючих, давно не бритых щеках жгучее солнце — ему снова двадцать пять лет, и он идет и смотрит вокруг, и улыбается, и счастлив тем, что живет, что так остро чувствует, впитывает в себя цвета и запахи…

Стук в дверь. Он поспешно накрыл телефон на коленях полой халата.

Вошла сиделка.

— Ну как, мы хорошо себя вели? — спросила она бодро.

— Да, — машинально ответил полковник. Перед глазами у него стоял туман. Он еще не опомнился от потрясения, стук в дверь застал его врасплох; часть его существа еще оставалась там, в другом, далеком городе. Он подождал — пусть все вернется на место, ведь нужно отвечать на вопросы, вести себя разумно, быть вежливым.

— Я пришла проверить ваш пульс.

— Не сейчас, — сказал полковник.

— Уж не собираетесь ли вы куда-нибудь пойти? — Сиделка улыбнулась.

Он пристально посмотрел на нее. Он не выходил из дому уже десять лет.

— Дайте-ка руку.

Ее жесткие, уверенные пальцы нащупывали

болезнь в его пульсе, измеряли ее, точно кронциркуль.

— Сердце очень возбуждено. Чем это вы его растревожили?

— Ничем.

Она обвела комнату взглядом и увидела пустой телефонный столик. В эту минуту за две тысячи миль раздался приглушенный автомобильный гудок.

Сиделка вынула телефон из-под халата полковника и поднесла к самому его лицу.

— Зачем вы себя губите? Ведь вы обещали больше этого не делать. Поймите, вам же это вредно. Волнуетесь, слишком много разговариваете. И еще эти мальчишки скачут вокруг вас…

— Они сидели очень спокойно и слушали, — сказал полковник. — А я рассказывал о разных разностях, о которых они еще не слыхивали. О буйволах, о бизонах. Ради этого стоило поволноваться. Мне все равно. Я был как в лихорадке и чувствовал, что живу. И если жить полной жизнью — значит умереть скорее, пусть так: предпочитаю умереть быстро, но сперва вкусить еще от жизни. А теперь дайте мне телефон. Раз вы не позволяете мальчикам приходить и тихонько сидеть около меня, я хоть поговорю с кем-нибудь

издали.

— Извините, полковник. Мне придется рассказать об этом вашему внуку. Он еще на прошлой неделе хотел убрать отсюда телефон, но я его отговорила. А теперь, видно, придется так и сделать.

— Это мой дом и мой телефон. И я плачу вам жалованье, — сказал старик.

— За то, чтобы я помогала вам поправиться, а не волноваться. — Она откатила кресло в другой конец комнаты. — А теперь, молодой человек, в постель!

Но и с постели полковник, не отрываясь, глядел на телефон.

— Я сбегаю на минутку в магазин, — сказала сиделка. — А кресло ваше я увезу в прихожую. Так мне спокойно, я уж буду знать, что вы не станете опять звонить по телефону.

И она выкатила пустое кресло за дверь. Потом он услышал, что она снизу звонит на междугородную станцию.

Неужели в Мехико-Сити? Нет, не посмеет.

Хлопнула парадная дверь.

Всю минувшую неделю он провел здесь один, в четырех стенах, и какое это было наслаждение — тайные звонки через моря и океаны, тонкая ниточка, протянутая сквозь дебри омытых дождем

девственных лесов, среди озер и горных вершин… разговоры… разговоры… Буэнос-Айрес… и Лима… и Рио-де-Жанейро… разговоры…

Он приподнялся на локте в своей холодной постели. Завтра телефона уже не будет! Каким же он был жадным дураком! Полковник спустил с кровати хрупкие, желтые, как слоновая кость, ноги и изумился — они совсем тонкие! Казалось, эти сухие палки прикрепили к его телу однажды ночью, пока он спал, а другие ноги, помоложе, сняли и сожгли в печи. За долгие годы все его тело разрушили, отняли руки и ноги и оставили взамен нечто жалкое и беспомощное, как шахматные фигурки. А теперь хотят добраться до самого неуловимого — до его памяти: пытаются обрезать провода, которые ведут назад, в прошлое.

Спотыкаясь, полковник кое-как пересек комнату. Схватил телефон и прижал к себе; ноги уже не держали его, и он сполз по стене на пол. Потом позвонил на междугородную, а сердце поминутно взрывалось у него в груди — чаще, чаще… В глазах потемнело. Скорей, скорей!

Он ждал.

— Bueno.

— Хорхе, нас разъединили.

— Вам нельзя звонить, сеньор, — сказал далекий голос. — Ваша сиделка меня просила. Она говорит, вы очень больны. Я должен повесить трубку.

— Нет, Хорхе, пожалуйста! — взмолился старик. — В последний раз прошу тебя. Завтра у меня отберут телефон. Я уже никогда больше не смогу тебе позвонить.

Хорхе молчал.

— Заклинаю тебя, Хорхе, — продолжал старый полковник. — Ради нашей дружбы, ради прошлых дней! Ты не знаешь, как это для меня важно. Мы с тобой однолетки, но ведь ты можешь ДВИГАТЬСЯ! А я не двигаюсь с места уже десять лет!

Он уронил телефон и с большим трудом вновь поднял его, боль в груди разрасталась, не давала дышать.

— Хорхе! Ты меня слышишь?

— И это в самом деле будет последний раз? — спросил Хорхе.

— Да, обещаю тебе!

За тысячи миль от Гринтауна телефонную трубку положили на стол. Снова отчетливо, знакомо звучат шаги, тишина, и наконец открывается окно.

— Слушай же, — шепнул себе старый полковник.

И он услышал тысячу людей под иным солнцем и слабое отрывистое треньканье: шарманка играет «Ла Маримба» — такой прелестный танец!

Старик крепко зажмурился, поднял руку, точно собрался сфотографировать старый собор, и тело его словно налилось, помолодело, и он ощутил под ногами раскаленные камни мостовой.

Ему хотелось сказать:

— Вы все еще здесь, да? Вы, жители далекого города, сейчас у вас время ранней сиесты, лавки закрываются, а мальчишки выкрикивают: «Loteria National para hoy»[4] и суют прохожим лотерейные билеты. Вы все здесь, люди далекого города. Мне просто не верится, что и я был когда-то среди вас. Из такой дали кажется, что его и нет вовсе, этого города, что он мне только приснился. Всякий город — Нью-Йорк, Чикаго — со всеми своими обитателями издали кажется просто выдумкой. И не верится, что и я существую здесь, в штате Иллинойс, в маленьком городишке у тихого озера. Всем нам трудно поверить, каждому трудно поверить, что все остальные существуют,

---

**[4] Примечания: 4**
Сегодня розыгрыш национальной лотереи (исп.).

потому что мы слишком далеко друг от друга. И как же отрадно слышать голоса и шум и знать, что Мехико-Сити все еще стоит на своем месте и люди там все так же ходят по улицам и живут…

Он сидел на полу, крепко прижимая к уху телефонную трубку.

И наконец ясно услышал самый неправдоподобный звук — на повороте заскрежетал зеленый трамвай, полный чужих смуглых и красивых людей, и еще люди бежали вдогонку, и доносились торжествующие возгласы — кому-то удалось вскочить на ходу, трамвай заворачивал за угол, и рельсы звенели, и он уносил людей в знойные летние просторы, и оставалось лишь шипенье кукурузных лепешек на рыночных жаровнях, — а быть может, лишь беспрерывное, то угасавшее, то вновь нарастающее гуденье медных проводов, что тянулись за две тысячи миль…

Старый полковник сидел на полу.

Время шло.

Внизу медленно отворилась дверь. Легкие шаги в прихожей, потом кто-то помедлил в нерешительности и вот, осмелев, поднимается по лестнице. Приглушенные голоса:

— Не надо нам было приходить!

— А я тебе говорю, он мне позвонил. Ему одному

невтерпеж. Что ж мы, предатели, что ли, — возьмем да и бросим его?

— Так ведь он болен?

— Ясно, болен. Но он велел приходить, когда сиделки нет дома. Мы только на минутку войдем, поздороваемся, и…

Дверь спальни раскрылась настежь. И трое мальчишек увидели: старый полковник сидит на полу у стены.

— Полковник Фрилей, — негромко позвал Дуглас.

Тишина была какая-то странная, они тоже не решались больше заговорить.

Потом подошли поближе, тихонько, чуть ли не на цыпочках.

Дуглас наклонился и вынул телефон из совсем уже застывших пальцев старика. Поднес трубку к уху, прислушался. И сквозь гуденье проводов и треск разрядов услышал странный, далекий, последний звук.

Где-то за две тысячи миль закрылось окно.

— Бумм! — крикнул Том. — Бумм, бумм, бумм! — Он сидел во дворе суда верхом на пушке времен Гражданской войны.

Перед пушкой стоял Дуглас, он схватился за сердце и рухнул на траву. И не вскочил, а остался

лежать и, видно, о чем-то задумался.

— У тебя такое лицо, точно ты вот-вот вытащишь карандаш и возьмешься писать.

— Не мешай мне думать, — ответил Дуглас, глядя на пушку. Потом перекатился на спину и уставился на небо и на макушки деревьев. — Том, до меня только сейчас дошло.

— Что?

— Вчера умер Чин Линсу. Вчера, прямо здесь, в нашем городе, навсегда кончилась Гражданская война. Вчера, прямо здесь, умер президент Линкольн, и генерал Ли, и генерал Грант, и сто тысяч других, кто лицом к югу, а кто — к северу. И вчера днем в доме полковника Фрилея ухнуло со скалы в самую что ни на есть бездонную пропасть целое стадо бизонов и буйволов, огромное, как весь Гринтаун, штат Иллинойс. Вчера целые тучи пыли улеглись навеки. А я-то сначала ничего и не понял! Ужасно, Том, просто ужасно! Как же нам теперь быть? Что будем делать? Больше не будет никаких буйволов… И никаких не будет солдат и генерала Гранта, и генерала Ли, и Честного Эйба[5], и Чин Линсу не будет! Вот уж не думал, что сразу может умереть столько народу! А ведь

---

**[5] Примечания: 5**
То есть Авраама Линкольна.

они все умерли, Том, это уж точно.

Том сидел верхом на пушке и глядел сверху вниз на брата, пока тот не умолк.

— Блокнот у тебя тут? Дуглас покачал головой.

— Тогда сбегай-ка за ним и запиши все, пока не забыл. Не каждый день у тебя на глазах помирает половина земного шара.

Дуглас сел на траве, потом встал. И медленно побрел по двору суда, покусывая нижнюю губу.

— Бумм, — негромко сказал Том. — Бумм, бумм. — Потом закричал вслед брату:

— Дуг! Пока ты шел по двору, я тебя три раза убил! Слышишь? Эй, Дуг! Ну, ладно. — Он улегся на пушке и, прищурясь, поглядел вдоль корявого ствола. — Бумм, — прошептал он в спину удалявшемуся Дугласу. — Бумм!

— Двадцать девятая!

— Есть!

— Тридцатая!

— Есть!

— Тридцать первая!

Рычаг нырнул вниз. Жестяные колпачки на закупоренных бутылках блестели, как золото. Дедушка подал Дугласу последнюю бутылку.

— Второй летний урожай. Июньский уже в погребе, а вот готов и июльский. Теперь остается

только август.

Дуглас поднял бутылку теплого вина из одуванчиков, но на полку ее не поставил. Там уже стояло много перенумерованных бутылок, все совершенно одинаковые, как близнецы: все яркие, аккуратные, все доверху заполненные и плотно закупоренные.

Эта — с того дня, когда я открыл, что живу, подумал он. Почему же она ни капельки не ярче других?

А эта — с того дня, когда Джон Хаф упал с края земли и исчез. Почему же она не темнее остальных?

Где же, где веселые собаки, что все лето прыгали и резвились, точно дельфины, в волнах переливающейся на ветру пшеницы? Где грозовой запах Зеленой машины и трамвая, запах молний? Осталось ли все это в вине? Нет! Или по крайней мере кажется, что нет.

В какой-то книге он вычитал однажды: все слова, что говорили люди с начала времен, все песни, какие они когда-либо пели, и поныне звучат в межзвездных далях, и если бы долететь до созвездия Центавра, можно было бы услышать, что говорил во сне Джордж Вашингтон или как вскрикнул Юлий Цезарь, когда в спину ему вон-

зили нож. Насчет звуков все ясно. А как насчет света? Ведь если кто-то хоть раз что-то увидел, оно уже не может просто исчезнуть без следа! Значит, где-то, если хорошенько поискать, — быть может, в истекающих медом пчелиных сотах, где свет прячется в янтарном соке, что собрали обремененные пыльцой пчелы, или в тридцати тысячах линз, которыми увенчана голова полуденной стрекозы, — удастся найти все цвета и зрелища мира. Или положить под микроскоп одну единственную каплю вот этого вина из одуванчиков — и, может, заполыхает извержение Везувия, точно все фейерверки всех дней Четвертого июля. Этому придется поверить.

И все же… вот смотришь на эту бутылку — по номеру ясно, что она налита в тот самый день, когда полковник Фрилей споткнулся и упал на шесть футов под землю, — и, однако, в ней не разглядишь ни грана темного осадка, ни пятнышка пыли, летящей из-под копыт огромных буйволов, ни крошки серы из ружей, что палили в битве при Шайло…

— Да, остается еще август, — сказал Дуглас. — Это верно. Только если и дальше так пойдет, в последнем урожае не соберешь никаких друзей, никаких машин, и одуванчиков кот наплакал.

— Бом! Бом! Ты словно не говоришь, а звонишь в похоронный колокол, — сказал дедушка. — Такие речи хуже всякой ругани. Впрочем, я не стану промывать тебе рот мылом. Тут лучшее лекарство — глоток вина из одуванчиков. А ну-ка! Одним духом! Каково?

— Уф! Будто огонь проглотил!

— Теперь — наверх! Обеги три раза вокруг квартала, пять раз перекувырнись, шесть раз проделай зарядку, взберись на два дерева — и живо из главного плакальщика станешь дирижером веселого оркестра. Дуй!

Четыре раза зарядку, взберусь на одно дерево и два раза перекувырнусь — и хватит, — подумал Дуглас на бегу.

А первого августа в полдень Билл Форестер уселся в свою машину и закричал, что едет в город за каким-то необыкновенным мороженым и не составит ли ему кто-нибудь компанию? Не прошло и пяти минут, как повеселевший Дуглас шагнул с раскаленной мостовой в прохладную, точно пещера, пахнущую лимонадом и ванилью аптеку и уселся с Биллом Форестером у снежно-белой мраморной стойки. Они потребовали, чтобы им перечислили все самые необыкновенные сорта мороженого, и когда официант дошел до

лимонного мороженого с ванилью, «какое едали в старину», Билл Форестер прервал его:

— Вот его-то нам и давайте.

— Да, сэр, — подтвердил Дуглас.

В ожидании мороженого они медленно поворачивались на своих вертящихся табуретах. Перед глазами у них проплывали серебряные краны, сверкающие зеркала, приглушенно жужжащие вентиляторы, что мелькали под потолком, зеленые шторки на окнах, плетеные стулья… Потом они перестали вертеться. Их взгляды уперлись в мисс Элен Лумис — ей было девяносто пять лет, и она с удовольствием уплетала мороженое.

— Молодой человек, — сказала она Биллу Форестеру. — Вы, я вижу, наделены и вкусом и воображением. И силы воли у вас, конечно, хватит на десятерых, иначе вы бы не посмели отказаться от обычных сортов, перечисленных в меню, и преспокойно, без малейшего колебания и угрызений совести заказать такую неслыханную вещь, как лимонное мороженое с ванилью.

Билл Форестер почтительно склонил голову.

— Подите сюда, вы оба, — продолжала старуха. — Садитесь за мой столик. Поговорим о необычных сортах мороженого и еще о всякой всячине — похоже, у нас найдутся общие слабо-

сти и пристрастия. Не бойтесь, я за вас заплачу.

— Они заулыбались и, прихватив свои тарелочки, пересели к ней.

— Ты, видно, из Сполдингов, — сказала она Дугласу. — Голова у тебя точь-в-точь как у твоего дедушки. А вы — вы Уильям Форестер. Вы пишете в «Кроникл», и совсем неплохо. Я о вас очень наслышана, все даже и пересказывать неохота.

— Я тоже вас знаю, — ответил Билл Форестер. — Вы — Элен Лумис. — Он чуть замялся и прибавил: — Когда-то я был в вас влюблен.

— Недурно для начала. — Старуха спокойно набрала ложечку мороженого. — Значит, не миновать следующей встречи. Нет, не говорите мне, где, когда и как случилось, что вы влюбились в меня. Отложим до другого раза. Вы своей болтовней испортите мне аппетит. Смотри ты какой! Впрочем, сейчас мне пора домой. Раз вы репортер, приходите завтра от трех до четырех пить чай; может случиться, что я расскажу вам историю этого города с тех далеких времен, когда он был просто факторией. И оба мы немножко удовлетворим свое любопытство. А знаете, мистер Форестер, вы напоминаете мне одного джентльмена, с которым я дружила семьдесят… да, семьдесят лет тому назад.

Она сидела перед ними, и им казалось, будто они разговаривают с серой, дрожащей заблудившейся молью. Голос ее доносился откуда-то издалека, из недр старости и увядания, из-под праха засушенных цветов и давным-давно умерших бабочек.

— Ну что ж. — Она поднялась. — Так вы завтра придете?

— Разумеется, приду, — сказал Билл Форестер. И она отправилась в город по своим делам, а мальчик и молодой человек неторопливо доедали свое мороженое и смотрели ей вслед.

На другое утро Уильям Форестер проверял кое-какие местные сообщения для своей газеты, после обеда съездил за город, на рыбалку, но только и поймал несколько мелких рыбешек и сразу же беспечно швырнул их обратно в реку; а в три часа, сам не заметив, как это вышло, — ведь он как будто об этом и не думал вовсе, — очутился в своей машине на некоей улице. Он с удивлением смотрел, как руки его сами собой поворачивают руль и машина, описав широкий полукруг, подъезжает к увитому плющом крыльцу. Он вылез, захлопнул дверцу, и тут оказалось, что машина у него мятая и обшарпанная, совсем как его изжеванная и видавшая виды трубка, — в

огромном зеленом саду перед свежевыкрашенным трехэтажным домом в викторианском стиле это особенно бросалось в глаза. В дальнем конце сада что-то колыхнулось, донесся чуть слышный оклик, и он увидел мисс Лумис — там, вдалеке, в ином времени и пространстве, она сидела одна и ждала его; перед ней мягко поблескивало серебро чайного сервиза.

— В первый раз вижу женщину, которая вовремя готова и ждет, — сказал он, подходя к ней. — Правда, я и сам первый раз в жизни прихожу на свиданье вовремя.

— А почему? — спросила она и выпрямилась в плетеном кресле.

— Право, не знаю, — признался он.

— Ладно. — Она стала разливать чай. — Для начала: что вы думаете о нашем подлунном мире?

— Я ничего о нем не знаю.

— Говорят, с этого начинается мудрость. Когда человеку семнадцать, он знает все. Если ему двадцать семь и он по-прежнему знает все — значит, ему все еще семнадцать.

— Вы, видно, многому научились за свою жизнь.

— Хорошо все-таки старикам — у них всегда такой вид, будто они все на свете знают. Но это

лишь притворство и маска, как всякое другое притворство и всякая другая маска. Когда мы, старики, остаемся одни, мы подмигиваем друг другу и улыбаемся: дескать, как тебе нравится моя маска, мое притворство, моя уверенность? Разве жизнь — не игра? И ведь я недурно играю?

Они оба посмеялись. Билл откинулся на стуле и впервые за много месяцев смех его звучал естественно. Потом мисс Лумис обеими руками взяла свою чашку и заглянула в нее.

— А знаете, хорошо, что мы встретились так поздно. Не хотела бы я встретить вас, когда мне был двадцать один год и я была совсем глупенькая.

— Для хорошеньких девушек в двадцать один год существуют особые законы.

— Так вы думаете, я была хорошенькая? — Он добродушно кивнул.

— Да с чего вы это взяли? — спросила она. — Вот вы увидели дракона, он только что съел лебедя; можно ли судить о лебеде по нескольким перышкам, которые прилипли к пасти дракона? А ведь только это и осталось — дракон, весь в складках и морщинах, который сожрал бедную лебедушку. Я не вижу ее уже много-много лет. И даже не помню, как она выглядела. Но я ее чувствую. Внутри

она все та же, все еще жива, ни одно перышко не слиняло. Знаете, в иное утро, весной или осенью, я просыпаюсь и думаю: вот сейчас побегу через луга в лес и наберу земляники! Или поплаваю в озере, или стану танцевать всю ночь напролет, до самой зари! И вдруг спохватываюсь. Ах ты, пропади все пропадом! Да ведь он меня не выпустит, этот дряхлый развалина-дракон. Я как принцесса в рухнувшей башне — выйти невозможно, знай себе сиди да жди Прекрасного принца.

— Вам бы книги писать.

— Дорогой мой мальчик, я и писала. Что еще оставалось делать старой деве? До тридцати лет я была легкомысленной дурой, только и думала, что о забавах, развлечениях да танцульках. А потом единственному человеку, которого я по-настоящему полюбила, надоело меня ждать, и он женился на другой. И тут назло самой себе я решила: раз не вышла замуж, когда улыбнулось счастье, — поделом тебе, сиди в девках! И принялась путешествовать. На моих чемоданах запестрели разноцветные наклейки. Побывала я в Париже, в Вене, в Лондоне — и всюду одна да одна, и тут оказалось: быть одной в Париже ничуть не лучше, чем в Гринтауне, штат Иллинойс. Все равно где — важно, что ты одна. Конечно, оста-

ется вдоволь времени размышлять, шлифовать свои манеры, оттачивать остроумие. Но иной раз я думаю: с радостью отдала бы острое словцо или изящный реверанс за друга, который остался бы со мной на субботу и воскресенье лет эдак на тридцать.

Они молча допили чай.

— Вот какой приступ жалости к самой себе, — добродушно сказала мисс Лумис. — Давайте поговорим о вас. Вам тридцать один и вы все еще не женаты?

— Я бы объяснил это так: женщины, которые живут, думают и говорят как вы, — большая редкость, — сказал Билл.

— Бог ты мой, — серьезно промолвила она. — Да неужто молодые женщины станут говорить как я! Это придет позднее. Во-первых, они для этого слишком молоды. И во-вторых, большинство молодых людей до смерти пугаются, если видят, что у женщины в голове есть хоть какие-нибудь мысли. Наверно, вам не раз встречались очень умные женщины, которые весьма успешно скрывали от вас свой ум. Если хотите найти для коллекции редкостного жучка, нужно хорошенько поискать и не лениться пошарить по разным укромным уголкам.

Они снова посмеялись.

— Из меня, верно, выйдет ужасно дотошный старый холостяк, — сказал Билл.

— Нет, нет, так нельзя. Это будет неправильно. Вам и сегодня не надо бы сюда приходить. Эта улица упирается в египетскую пирамиду — и только. Конечно, пирамиды — это очень мило, но мумии вовсе не подходящая для вас компания. Куда бы вам хотелось поехать? Что бы вы хотели делать, чего добиться в жизни?

— Хотел бы повидать Стамбул, Порт-Саид, Найроби, Будапешт. Написать книгу. Очень много курить. Упасть со скалы, но на полдороге зацепиться за дерево. Хочу, чтобы где-нибудь в Марокко в меня раза три выстрелили в полночь в темном переулке. Хочу любить прекрасную женщину.

— Ну, я не во всем смогу вам помочь, — сказала мисс Лумис. — Но я много путешествовала и могу вам порассказать о разных местах. И если угодно, пробегите сегодня вечером, часов в одиннадцать, по лужайке перед моим домом, и я, так и быть, выпалю в вас из мушкета времен Гражданской войны, конечно, если еще не лягу спать. Ну как, насытит ли это вашу мужественную страсть к приключениям?

— Это будет просто великолепно!

— Куда же вы хотите отправиться для начала? Могу увезти вас в любое место. Могу вас заколдовать. Только пожелайте. Лондон? Каир? Ага, вы так и просияли! Ладно, значит, едем в Каир. Не думайте ни о чем. Набейте свою трубку этим душистым табаком и устраивайтесь поудобнее.

Билл Форестер откинулся в кресле, закурил трубку и, чуть улыбаясь, приготовился слушать.

— Каир… — начала она.

Прошел час, наполненный драгоценными камнями, глухими закоулками и ветрами египетской пустыни. Солнце источало золотые лучи, Нил катил свои мутно-желтые воды, а на вершине пирамиды стояла совсем юная, порывистая и очень жизнерадостная девушка, и смеялась, и звала его из тени наверх, на солнце, и он спешил подняться к ней, и вот она протянула руку и помогает ему одолеть последнюю ступеньку… а потом они, смеясь, качаются на спине у верблюда, а навстречу вздымается громада Сфинкса… а поздно ночью в туземном квартале звенят молоточки по бронзе и серебру и кто-то наигрывает на незнакомых струнных инструментах, и незнакомая мелодия звучит все тише и наконец замирает вдали…

Уильям Форестер открыл глаза. Мисс Элен Лумис умолкла, и оба они опять были в Гринтауне, в саду, с таким чувством, точно целый век знают друг друга, и чай в серебряном чайнике уже остыл, и печенье подсохло в лучах заходящего солнца. Билл вздохнул, потянулся и снова вздохнул.

— Никогда в жизни мне не было так хорошо!

— И мне тоже.

— Я вас очень утомил. Мне надо было уйти уже час назад.

— Вы и сами знаете, что я отлично провела этот час. Но вот вам-то что за радость сидеть с глупой старухой…

Билл Форестер вновь откинулся на спинку кресла и смотрел на нее из-под полуопущенных век. Потом зажмурился так, что в глаза проникла лишь тонюсенькая полоска света. Осторожно наклонил голову на один бок, потом на другой.

— Что это вы? — недоуменно спросила мисс Лумис. Билл не ответил и продолжал ее разглядывать.

— Если найти точку, — бормотал он, — важно приспособиться, отбросить лишнее… — а про себя подумал: можно не замечать морщины, скинуть со счетов годы, повернуть время вспять.

И вдруг встрепенулся.

— Что случилось? — спросила мисс Лумис. Но все уже пропало. Он открыл глаза, чтобы снова поймать тот призрак. Ошибка, это делать не следовало. Надо было откинуться назад, забыть обо всем и смотреть словно бы лениво, не спеша, полузакрыв глаза.

— На какую-то секунду я это увидел, — сказал он.

— Что увидели?

Лебедушку, конечно, подумал он, и, наверно, она прочла это слово по его губам.

Старуха порывисто выпрямилась в своем кресле. Руки застыли на коленях. Глаза, устремленные на него, медленно наполнялись слезами. Билл растерялся.

— Простите меня, — сказал он наконец. — Ради бога, простите.

— Ничего. — Она по-прежнему сидела выпрямившись, стиснув руки на коленях, и не смахивала слез. — Теперь вам лучше уйти. Да, завтра можете прийти опять, а сейчас, пожалуйста, уходите, и ничего больше не надо говорить.

Он пошел прочь через сад, оставив ее в тени за столом. Оглянуться он не посмел.

Прошло четыре дня, восемь, двенадцать; его

приглашали то к чаю, то на ужин, то на обед. В долгие зеленые послеполуденные часы они сидели и разговаривали — об искусстве, о литературе, о жизни, обществе и политике. Ели мороженое, жареных голубей, пили хорошие вина.

— Меня никогда не интересовало, что болтают люди, — сказала она однажды. — А они болтают, да? — Билл смущенно поерзал на стуле.

— Так я и знала. Про женщину всегда сплетничают, даже если ей уже стукнуло девяносто пять.

— Я могу больше не приходить.

— Что вы! — воскликнула она и тотчас опомнилась. — Это невозможно, вы и сами знаете, — продолжала она спокойнее. — Да ведь и вам все равно, что они там подумают и что скажут, правда? Мы-то с вами знаем — ничего худого тут нет.

— Конечно, мне все равно, — подтвердил он.

— Тогда мы еще поиграем в нашу игру. — Мисс Лумис откинулась в кресле. — Куда на этот раз? В Париж? Давайте в Париж.

— В Париж. — Билл согласно кивнул.

— Итак, — начала она, — на дворе год тысяча восемьсот восемьдесят пятый, и мы садимся на пароход в нью-йоркской гавани. Вот наш багаж, вот билеты, там — линия горизонта. И мы уже в открытом море. Подходим к Марселю…

Она стоит на мосту и глядит вниз, в прозрачные воды Сены, и вдруг он оказывается рядом с ней и тоже глядит вниз, на волны лета, бегущие мимо. Вот в белых пальцах у нее рюмка с аперитивом, и снова он тут как тут, наклоняется к ней, чокается, звенят рюмки. Он видит себя в зеркалах Версаля, над дымящимися доками Стокгольма, они вместе читают вывески цирюльников вдоль каналов Венеции. Все, что она видела одна, они видят теперь снова вместе.

Как-то в середине августа они под вечер сидели вдвоем и глядели друг на друга.

— А знаете, ведь я бываю у вас почти каждый день вот уже две с половиной недели, — сказал Билл.

— Не может быть!

— Для меня это огромное удовольствие.

— Да, но ведь на свете столько молодых девушек…

— В вас есть все, чего недостает им, — доброта, ум, остроумие…

— Какой вздор! Доброта и ум — свойства старости. В двадцать лет женщине куда интересней быть бессердечной и легкомысленной. — Она умолкла и перевела дух. — Теперь я хочу вас смутить. Помните, когда мы встретились в первый

раз в аптеке, вы сказали, что у вас одно время была… ну, скажем, симпатия ко мне. Потом вы старались, чтобы я об этом забыла, ни разу больше об этом не упомянули. Вот мне и приходится самой просить вас объяснить мне, что это была за нелепость.

Билл замялся.

— Вы и правда меня смутили.

— Ну, выкладывайте!

— Много лет назад я случайно увидел вашу фотографию.

— Я никогда не разрешаю себя фотографировать.

— Это была очень старая карточка, вам на ней лет двадцать.

— Ах, вот оно что. Это просто курам на смех! Всякий раз, когда я жертвую деньги на благотворительные цели или еду на бал, они выкапывают эту карточку и опять ее перепечатывают. И весь город смеется. Даже я сама.

— Со стороны газеты это жестоко.

— Ничуть. Я им сказала: если вам нужна моя фотография, берите ту, где я снята в тысяча восемьсот пятьдесят третьем году. Пусть запомнят меня такой. И уж, пожалуйста, во время панихиды не открывайте крышку гроба.

— Я расскажу вам, как все это было.

Билл Форестер скрестил руки на груди, опустил глаза и немного помолчал. Он так ясно представил себе эту фотографию. Здесь, в этом саду, было вдоволь времени вспомнить каждую черточку, и перед ним встала Элен Лумис — та, с фотографии, совсем еще юная и прекрасная, когда она впервые в жизни одна позировала перед фотоаппаратом. Ясное лицо, тихая, застенчивая улыбка.

Это было лицо весны, лицо лета, теплое дыханье душистого клевера. На губах рдели гранаты, в глазах голубело полуденное небо. Коснуться этого лица — все равно что ранним декабрьским утром распахнуть окно и, задохнувшись от ощущения новизны, подставить руку под первые легчайшие пушинки снега, что падают с ночи, неслышные и нежданные. И все это — теплота дыханья и персиковая нежность — навсегда запечатлелось в чуде, именуемом фотографией, над ним не властен ветер времени, его не изменит бег часовой стрелки, оно никогда ни на секунду не постареет; этот легчайший первый снежок никогда не растает, он переживет тысячи жарких июлей.

Вот какова была та фотография, и вот как он узнал мисс Лумис. Он вспомнил все это, знакомый облик встал перед его мысленным взором, и

теперь он вновь заговорил:

— Когда я в первый раз увидел эту простую карточку — девушку со скромной, без затей, прической, — я не знал, что снимок сделан так давно. В газетной заметке говорилось, что Элен Лумис откроет в этот вечер бал в ратуше. Я вырезал фотографию из газеты. Весь день я всюду таскал ее с собой. Я твердо решил пойти на этот бал. А потом, уже к вечеру, кто-то увидел, как я гляжу на эту фотографию, и мне открыли истину. Рассказали, что снимок очаровательной девушки сделан давным-давно и газета из года в год его перепечатывает. И еще мне сказали, что не стоит идти на бал и искать вас там по этой фотографии. — Долгую минуту они сидели молча. Потом Билл исподтишка глянул на мисс Лумис. Она смотрела в дальний конец сада, на ограду, увитую розами. На лице ее ничего не отразилось. Она немного покачалась в своем кресле и мягко сказала:

— Ну вот и все. Не выпить ли нам еще чаю? — Они молча потягивали чай. Потом она наклонилась вперед и похлопала его по плечу.

— Спасибо.

— За что?

— За то, что вы хотели пойти на бал искать меня, за то, что вырезали фотографию из газе-

ты, — за все. Большое вам спасибо.

Они побродили по тропинкам сада.

— А теперь моя очередь, — сказала мисс Лумис. — Помните, я как-то обмолвилась об одном молодом человеке, который ухаживал за мной семьдесят лет тому назад? Он уже лет пятьдесят как умер, но в то время он был совсем молодой и очень красивый, целые дни проводил в седле и даже летними ночами скакал на лихом коне по окрестным лугам. От него так и веяло здоровьем и сумасбродством, лицо всегда было покрыто загаром, руки вечно исцарапаны; и все-то он бурлил и кипятился, а ходил так стремительно, что казалось, его вот-вот разорвет на части. То и дело менял работу — бросит все и перейдет на новое место, а однажды сбежал и от меня, потому что я была еще сумасбродней его, нипочем не соглашалась стать степенной мужней женой. Вот так все и кончилось. И я никак не ждала, что в один прекрасный день вновь увижу его живым. Но вы живой, и нрав у вас тоже горячий и неуемный и вы такой же неуклюжий и вместе с тем изящный. И я заранее знаю, как вы поступите, когда вы и сами еще об этом не догадываетесь, и, однако, всякий раз вам поражаюсь. Я всю жизнь считала, что перевоплощение — бабьи сказки, а вот на

днях вдруг подумала: а что, если взять и крикнуть на улице: «Роберт! Роберт!» — не обернется ли на этот зов Уильям Форестер?

— Не знаю, — сказал он.

— И я не знаю. Потому-то жизнь так интересна.

Август почти кончился. По городу медленно плыло первое прохладное дыхание осени, яркая зелень листвы потускнела, а потом деревья вспыхнули буйным пламенем, горы и холмы зарумянились, заиграли всеми красками, а пшеничные поля побурели. Дни потекли знакомой однообразной чередой, точно писарь выводил ровным круглым почерком букву за буквой, строку за строкой.

Как-то раз Уильям Форестер шагал по хорошо знакомому саду и еще издали увидел, что Элен Лумис сидит за чайным столом и старательно что-то пишет. Когда Билл подошел, она отодвинула перо и чернила.

— Я вам писала, — сказала она.

— Не стоит трудиться — я здесь.

— Нет, это письмо особенное. Посмотрите. — Она показала Биллу голубой конверт, только что заклеенный и аккуратно разглаженный ладонью. — Запомните, как оно выглядит. Когда

почтальон принесет вам его, это будет означать, что меня уже нет в живых.

— Ну что это вы такое говорите!

— Садитесь и слушайте. — Он сел.

— Дорогой мой Уильям, — начала она, укрывшись под тенью летнего зонтика. — Через несколько дней я умру. Нет, не перебивайте меня. — Она предостерегающе подняла руку. — Я не боюсь. Когда живешь так долго, теряешь многое, в том числе и чувство страха. Никогда в жизни не любила омаров — может, потому что не пробовала. А в день, когда мне исполнилось восемьдесят, решила — дай-ка отведаю. Не скажу, чтобы я их так сразу и полюбила, но теперь я хоть знаю, каковы они на вкус, и не боюсь больше. Так вот, думаю, и смерть вроде омара, и уж как-нибудь я с ней примирюсь. — Мисс Лумис махнула рукой. — Ну, хватит об этом. Главное, что я вас больше не увижу. Отпевать меня не будут. Я полагаю, женщина, которая прошла в эту дверь, имеет такое же право на уединение, как женщина, которая удалилась на ночь к себе в спальню.

— Смерть предсказать невозможно, — выговорил наконец Билл.

— Вот что, Уильям. Полвека я наблюдаю за дедовскими часами в прихожей. Когда их за-

водят, я могу точно сказать наперед, в котором часу они остановятся. Так и со старыми людьми. Они чувствуют, как слабеет завод и маятник раскачивается все медленнее. Ох, пожалуйста, не смотрите на меня так.

— Простите, я не хотел… — ответил он.

— Мы ведь славно провели время, правда? Это было так необыкновенно хорошо — наши с вами беседы каждый день. Есть такая ходячая, избитая фраза — родство душ; так вот, мы с вами и есть родные души. — Она повертела в руках голубой конверт. — Я всегда считала, что истинную любовь определяет дух, хотя тело порой отказывается этому верить. Тело живет только для себя. Только для того, чтобы пить, есть и ждать ночи. В сущности, это ночная птица. А дух ведь рожден от солнца, Уильям, и его удел — за нашу долгую жизнь тысячи и тысячи часов бодрствовать и впитывать все, что нас окружает. Разве можно сравнить тело, это жалкое и себялюбивое порождение ночи, со всем тем, что за целую жизнь дают нам солнце и разум? Не знаю. Знаю только, что все последние дни мой дух соприкасался с вашим и дни эти были лучшими в моей жизни. Еще о многом надо бы поговорить, да придется отложить до новой встречи.

— У нас не так уж много времени.

— Да, но вдруг будет еще одна встреча! Время — престранная штука, а жизнь — и еще того удивительней. Как-то там не так повернулись колесики или винтики, и вот жизни человеческие переплелись слишком рано или слишком поздно. Я чересчур зажилась на свете, это ясно. А вы родились то ли слишком рано, то ли слишком поздно. Ужасно досадное несовпадение. А может, это мне в наказание — уж очень я была легкомысленной девчонкой. Но на следующем обороте колесики могут опять повернуться так, как надо. А покуда непременно найдите себе славную девушку, женитесь и будьте счастливы. Но прежде вы должны мне кое-что обещать.

— Все что угодно.

— Обещайте не дожить до глубокой старости, Уильям. Если удастся, постарайтесь умереть, пока вам не исполнилось пятьдесят. Я знаю, это не так просто. Но я вам очень советую — ведь кто знает, когда еще появится на свет вторая Элен Лумис. А вы только представьте: вот вы уже дряхлый старик, и в один прекрасный день в тысяча девятьсот девяносто девятом году плететесь по Главной улице и вдруг видите меня, а мне только двадцать один, и все опять полетело

вверх тормашками — ведь правда, это было бы ужасно? Мне кажется, как ни приятно нам было встречаться в эти последние недели, мы все равно больше не могли бы так жить. Тысяча галлонов чая и пятьсот печений — вполне достаточно для одной дружбы. Так что непременно устройте себе, лет эдак через двадцать, воспаление легких. Ведь я не знаю, сколько вас там продержат, на том свете, — а вдруг сразу отпустят обратно? Но я сделаю все, что смогу, Уильям, обещаю вам. И если все пойдет как надо, без ошибок и опозданий, знаете, что может случиться?

— Скажите мне.

— Как-нибудь, году так в тысяча девятьсот восемьдесят пятом или девяностом, молодой человек по имени Том Смит или, скажем, Джон Грин, гуляя по улицам, заглянет мимоходом в аптеку и, как полагается, спросит там какого-нибудь редкостного мороженого. А по соседству окажется молодая девушка, его сверстница, и, когда она услышит, какое мороженое он заказывает, что-то произойдет. Не знаю, что именно и как именно. А уж она-то и подавно не будет знать, как и что. И он тоже. Просто от одного названия этого мороженого у обоих станет необыкновенно хорошо на душе. Они разговорятся. А потом познакомятся и

уйдут из аптеки вместе.

И она улыбнулась Уильяму.

— Вот как гладко получается, но вы уж извините старуху, люблю все разбирать и по полочкам раскладывать. Это просто так, пустячок вам на память. А теперь поговорим о чем-нибудь другом. О чем же? Осталось ли на свете хоть одно местечко, куда мы еще не съездили? А в Стокгольме мы были?

— Да, прекрасный город.

— А в Глазго? Куда же нам теперь?

— Почему бы не съездить в Гринтаун, штат Иллинойс? — предложил Билл. — Сюда. Мы ведь, собственно, не побывали вместе в нашем родном городе.

Мисс Лумис откинулась в кресле. Билл последовал ее примеру, и она начала:

— Я расскажу вам, каким был наш город давным-давно, когда мне едва минуло девятнадцать…

Зимний вечер, она легко скользит на коньках по замерзшему пруду, лед под луной белый-белый, а под ногами скользит ее отражение и словно шепчет ей что-то. А вот летний вечер — летом здесь, в этом городе, зноем опалены и улицы, и щеки, и в сердце знойно, и, куда ни

глянь, мерцают — то вспыхнут, то погаснут — светлячки. Октябрьский вечер, ветер шумит за окном, а она забежала на кухню полакомиться тянучкой и беззаботно напевает песенку; а вот она бегает по мшистому берегу реки, вот весенним вечером плавает в гранитном бассейне за городом, в глубокой и теплой воде; а теперь Четвертое июля, в небе рассыпаются разноцветные огни фейерверка — и алым, синим, белым светом озаряются лица зрителей на каждом крыльце, и, когда гаснет в небе последняя ракета, одно девичье лицо сияет ярче всех.

— Вы видите все это? — спрашивает Элен Лумис. — Видите меня там, с ними?

— Да, — отвечает Уильям Форестер, не открывая глаз. — Я вас вижу.

— А потом, — говорит она, — потом…

Голос ее все не смолкает, день на исходе, и сгущаются сумерки, а голос все звучит в саду, и всякий, кто пройдет мимо за оградой, даже издалека может его услышать — слабый, тихий, словно шелест крыльев мотылька…

Два дня спустя Уильям Форестер сидел за столом у себя в редакции, и тут пришло письмо. Его принес Дуглас, отдал Уильяму, и лицо у него было такое, словно он знал, что там написано.

Уильям Форестер сразу узнал голубой конверт, но не вскрыл его. Просто положил в карман рубашки, минуту молча смотрел на мальчика, потом сказал:

— Пойдем, Дуг. Я угощаю.

Они шли по улицам и почти всю дорогу молчали; Дуглас и не пытался заговорить — чутье подсказывало ему, что так надо. Надвинувшаяся было осень отступила. Вновь сияло лето, вспенивая облака и начищая голубой металл неба. Они вошли в аптеку и уселись у снежно-белой стойки. Уильям Форестер вынул из нагрудного кармана письмо и положил перед собой, но все не распечатывал конверт.

Он смотрел в окно: желтый солнечный свет на асфальте, зеленые полотняные навесы над витринами, сияющие золотом буквы вывесок через дорогу… потом взглянул на календарь на стене. Двадцать седьмое августа тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Он взглянул на свои наручные часы; сердце билось медленно и тяжело, а минутная стрелка на циферблате совсем не двигалась, и календарь навеки застыл на этом двадцать седьмом августа, и даже солнце, казалось, пригвождено к небу и никогда уже не закатится. Вентиляторы над головой, вздыхая,

разгоняли теплый воздух. Мимо распахнутых дверей аптеки, чему-то смеясь, проходили женщины, но он их не видел, он смотрел сквозь них и видел дальние улицы и часы на высокой башне здания суда. Наконец распечатал письмо и стал читать.

Потом медленно повернулся на вертящемся табурете. Опять и опять беззвучно повторял эти слова про себя, и наконец выговорил их вслух, и снова повторил:

— Лимонного мороженого с ванилью, — сказал он. — Лимонного мороженого с ванилью.

Дуглас, Том и Чарли, тяжело дыша, бежали по залитой солнцем улице.

— Том, скажи честно.

— Чего тебе?

— Бывает так, что все хорошо кончается?

— Бывает — в пьесках, которые показывают на утренниках по субботам.

— Ну это понятно, а в жизни так бывает?

— Я тебе одно скажу, Дуг: ужасно люблю вечером ложиться спать! Так что уж один-то раз в день непременно бывает счастливый конец. Наутро встаешь и, может, все пойдет хуже некуда. Но тогда я сразу вспомню, что вечером опять лягу спать и как полежу немножко, все опять станет

хорошо.

— Да нет, я про мистера Форестера и про старую мисс Лумис.

— Так ведь она умерла, что ж тут поделаешь.

— Я знаю. Только тут все равно что-то не так, верно?

— А, ты вон про что! Ему-то кажется, что она все молоденькая, совсем как на той карточке, а на самом деле ей уже целый миллион лет — про это, да? Ну, а по-моему, это просто здорово!

— Как так здорово?

— За последнее время мистер Форестер мне понемножку про все это рассказывал, и я под конец сообразил, что к чему, и давай реветь — прямо как девчонка! Даже сам не знаю, с чего это я. Только мне вовсе не хочется, чтобы было по-другому. Ведь будь оно по-другому, нам с тобой и говорить бы не о чем. И потом мне нравится плакать. Как поплачешь хорошенько, сразу кажется, будто опять утро и начинается новый день.

— Вот теперь понятно!

— Да ты и сам любишь поплакать, только не признаешься. Поплачешь всласть, и потом все хорошо. Вот тебе и счастливый конец. И опять охота бежать на улицу и играть с ребятами. И тут, глядишь, начинается самое неожиданное! Вот и

мистер Форестер вдруг подумает-подумает и поймет, что тут уж все равно ничего не поделаешь, да как заплачет, потом поглядит, а уже опять утро, хоть бы на самом деле было пять часов дня.

— Что-то непохоже это на счастливый конец.

— Надо только хорошенько выспаться, или пореветь минут десять, или съесть целую пинту шоколадного мороженого, а то и все это вместе — лучшего лекарства не придумаешь. Это тебе говорит Том Сполдинг, доктор медицины.

— Да замолчите вы, — сказал Чарли. — Мы уже почти пришли.

Они завернули за угол.

Среди зимы они, бывало, искали следы и признаки лета и находили их в топках печей в подвалах или в вечерних кострах на краю пруда, превращенного в каток. Теперь, летом, они искали хоть малейшего отзвука, хоть напоминания о забытой зиме.

За углом в их разгоряченные лица дохнуло свежестью, словно легкий моросящий дождик брызнул навстречу с огромного кирпичного здания; прямо перед ними была вывеска, которую они давно знали наизусть:

ЛЕТНИЙ ЛЕД

Того-то им и надо было.

«Летний лед» в летний день! Они смеялись и повторяли эти слова, и подошли поближе, чтобы заглянуть в громадную пещеру, где в аммиачных парах и хрустальных каплях дремали большущие, по пятьдесят, сто и двести фунтов, куски ледников и айсбергов — давно выпавший, но незабытый январский снег.

— Чувствуешь? — вздохнул Чарли Вудмен. — Чего еще надо человеку?

Над ними вовсю светило солнце, а лица опять и опять овевало холодное дыханье зимы, и они втягивали ноздрями запах влажной деревянной платформы, где всеми цветами радуги переливался постоянный туман; он исходил от механизмов, которые там, наверху, вырабатывали лед.

Ребята грызли сосульки, пальцы у них закоченели — пришлось завернуть сосульки в носовые платки и сосать полотно.

— «Ледяные дуновенья, леденящие туманы», — шепнул Том. — Помните «Снежную королеву»? Понятно, теперь мы уже не верим в такую ерунду. А может, она как раз тут и прячется, потому что никто больше в нее не верит? Очень просто!

Они стояли и смотрели, как над холодильником поднимаются испарения и уплывают длинными лентами холодного дыма.

— Нет, — сказал Чарли. — Знаете, кто тут живет? Только он один. Про кого как подумаешь, враз мурашки по спине забегают. — Чарли понизил голос почти до шепота: ДУШЕГУБ!

— Душегуб?

— Ну да, тут он родился, вырос и весь свои век тут живет. Вы поймите, ребята: тут всегда зима, всегда холод, а ведь из-за Душегуба мы и летом дрожим, в самую жару, в самые душные ночи. Откуда же ему еще взяться? Тут даже пахнет им. Верно вам говорю, да вы и сами знаете. Душегуб… Душегуб…

Туман и испарения клубились в темноте.

Том взвизгнул.

— Ничего, ничего, Дуг! — Чарли широко ухмыльнулся. — Это я просто запустил ему за шиворот сосульку.

Часы на здании суда пробили семь раз. Отзвучало и замерло эхо.

Маленький городишко в штате Иллинойс, затерянный в глуши, отгороженный от мира рекой, лесом, лугом и озером, окутанный теплыми летними сумерками. От тротуаров еще пышет жаром. Закрываются магазины, на улицы ложится тень. И над городом — две луны: на все четыре стороны смотрят четыре циферблата часов над

торжественным черным зданием суда, а на востоке в темном небе, светясь молочной белизной, восходит настоящая луна.

В аптеке высоко под потолком шепчутся вентиляторы. В тени вычурных крылечек сидят несколько человек, в темноте их не разглядеть. Порою разгорится розовый огонек сигары. Затянутые москитной сеткой двери веранд скрипят и хлопают. По лиловым в поздних летних сумерках камням мостовой бежит Дуглас Сполдинг, следом мчатся собаки и мальчишки.

— Привет, мисс Лавиния!

Мальчишки пронеслись мимо. Лавиния Неббс лениво помахала им вдогонку. Она сидела совсем одна, изредка белыми пальцами подносила к губам высокий фужер с прохладным лимонадом, отпивала глоток, ждала.

— Вот и я!

Лавиния обернулась — у крыльца стояла Франсина, вся в белом, от нее веяло цветущими цинниями и гибискусом.

Лавиния Неббс заперла парадную дверь, оставила недопитый лимонад на веранде.

— Самый подходящий вечер для хорошего фильма. — Они вышли на улицу.

— Куда вы, девочки? — окликнули их мисс

Роберта и мисс Ферн, завидев подруг со своей веранды.

— В кино «Элита», смотреть Чарли Чаплина, — через мягкий океан тьмы отозвалась Лавиния.

— Нет уж, в такую ночь нас из дому не выманишь! — крикнула мисс Ферн. — Вот в такие ночи Душегуб и душит женщин. Мы сегодня захватим пистолет и запремся в чулане.

— Вот еще глупости! — сказала Лавиния. За обеими старушками громко захлопнулась дверь, в замке щелкнул ключ, а девушки пошли дальше. Славно было ощущать теплое дыханье летней ночи над раскаленными тротуарами. Будто идешь по твердой корочке свежеиспеченного хлеба. Жаркие струи вкрадчиво обвивают ноги, забираются под платье, охватывают все тело… Приятно!

— Лавиния, а ты веришь всем этим разговорам насчет Душегуба?

— Уж очень наши дамы любят поболтать, язык-то без костей.

— А что ни говори, два месяца назад убили Хетти Мак-Доллис, а месяц назад — Роберту Ферри, а теперь вот исчезла Элизабет Рэмсел…

— Хетти Мак-Доллис была просто дурочка. Ручаюсь, она сбежала с каким-нибудь комми-

вояжером.

— А как же остальные? Говорят, их всех нашли удавленными, и язык прикушен.

Они стояли на краю оврага, который делил город надвое. Позади остались освещенные дома и музыка, впереди — провал, сырость, светлячки и тьма.

— Может, зря мы сегодня пошли в кино, — заметила Франсина. — Вдруг Душегуб нас выследит и убьет! Не люблю я этот овраг. Посмотри-ка на него.

Лавиния посмотрела, и овраг показался ей динамо-машиной, которая ни днем ни ночью не знает покоя; там непрестанно что-то ворчит, шуршит и ворочается — идет жизнь растений, насекомых и какого-то зверья. Из глубины оврага тянет, словно из теплицы, какими-то неведомыми приторными испарениями, древними, насквозь промытыми сланцами, сыпучими песками. А черная динамо-машина все гудит и гудит, и летающие светлячки разрывают тьму, точно электрические искры.

— Мне-то уж не надо будет сегодня в такую поздноту возвращаться домой через этот мерзкий овраг, — сказала Франсина. — А вот тебе придется идти домой этой дорогой, Лавиния. По этим сту-

пенькам и через мост… а вдруг тебе встретится Душегуб?

— Глупости! — сказала Лавиния Неббс.

— Я-то не пойду, а вот ты пойдешь по тропинке одна и станешь прислушиваться к собственным шагам. Всю дорогу до дому тебе придется идти одной. Послушай, Лавиния, неужели тебе не жутко совсем одной в твоем доме?

— Старые девы любят жить одни. — Лавиния указала на тропку среди кустов, уходящую во тьму; там было жарко, словно в теплице. — Давай пойдем напрямик.

— Я боюсь!

— Еще рано. Душегуб выходит на охоту гораздо позже. — Лавиния взяла Франсину под руку и повела по извилистой тропинке, все ниже, ниже, в теплоту сверчков, кваканья лягушек и напоенную тонким пеньем москитов тишину. Они пробирались сквозь сожженную солнцем траву, сухие стебли кололи их голые щиколотки.

— Побежим! — задыхаясь, попросила Франсина.

— Нет!

Тропинка вильнула в сторону — и тут они увидели…

В певучей тишине ночи, под сенью нагретых

солнцем деревьев лежала Элизабет Рэмсел — казалось, она прилегла здесь, чтобы насладиться ласковыми звездами и беспечным ветерком, руки свободно лежали вдоль тела, как весла легкокрылого суденышка.

Франсина вскрикнула.

— Не кричи! — Лавиния протянула руки и ухватилась за Франсину, а та всхлипывала и давилась слезами. — Не кричи, не смей кричать!

Элизабет лежала, точно ее вынесло сюда волнами; лицо залито лунным светом, глаза широко раскрыты и тускло отсвечивают, как речная галька, кончик языка прикушен.

— Она мертвая, — сказала Франсина. — Ой, она мертвая, мертвая!

Лавиния словно окаменела, а вокруг темнели теплые тени, стрекотали сверчки, громко квакали лягушки.

— Надо сообщить в полицию, — сказала она наконец.

— Обними меня, Лавиния, мне холодно, ужасно холодно, в жизни не было так холодно!

Лавиния обняла Франсину; а между тем по сухой до хруста траве шагали полицейские, под ногами метались пятна света от карманных фонариков, звучали приглушенные голоса; время

близилось к половине девятого.

— Прямо как в декабре. Свитер бы надеть! — не открывая глаз, сказала Франсина и прижалась к подруге.

— Теперь вы обе можете идти, уважаемые, — сказал полицейский. — А завтра прошу зайти к нам в участок, у нас, наверно, будут к вам еще кое-какие вопросы.

И Лавиния с Франсиной пошли от полиции и от белой простыни, которая прикрывала теперь нечто неподвижное, простертое на траве.

Сердце Лавинии отчаянно колотилось, ее тоже насквозь, до самых костей пробирал холод; в лунном свете ее тонкие пальцы белели как льдинки; и ей запомнилось, что она всю дорогу что-то говорила, а Франсина только всхлипывала и жалась к ней.

Внезапно вдогонку послышался голос:

— Может, вас проводить?

— Нет, мы дойдем одни, — ответила в темноту Лавиния, и они пошли дальше. Они шли по оврагу, тут все шуршало и словно бы настороженно принюхивалось к ним, перешептывалось, стрекотало и потрескивало, а крошечный островок, где остались огни и голоса, где люди искали следы убийцы, затерялся далеко позади.

— Я никогда раньше не видела мертвых, — сказала Франсина.

Лавиния вгляделась в свои часы, словно они были бог весть в какой дали, словно собственное запястье оказалось за тысячу миль от нее.

— Сейчас только половина девятого. Захватим по дороге Элен и пойдем в кино.

— В кино?! — Франсина отшатнулась.

— Непременно. Нужно забыть все это. Нужно выкинуть это из головы. Если сейчас вернуться домой, мы все время будем об этом думать. Нет, пойдем в кино, как будто ничего не случилось.

— Лавиния, неужели ты серьезно?

— Еще как серьезно. Нужно забыть, нужно смеяться.

— Но ведь там Элизабет… твоя подруга… и моя…

— Ей мы уже ничем не можем помочь; значит, надо думать о себе. Пойдем.

В темноте они стали взбираться каменистой тропинкой по склону оврага. И вдруг перед ними, загораживая им дорогу, не видя их, потому что он смотрел вниз, на движущиеся огоньки и на мертвое тело, и прислушивался к голосам полицейских, вырос Дуглас Сполдинг.

Он стоял, беспомощно опустив руки, белый

как мел от лунного света и, не отрываясь, глядел вниз, в овраг.

— Иди домой! — крикнула Франсина. Он не слышал.

— Эй, ты! — завопила Франсина. — Иди домой, уходи отсюда сейчас же, слышишь? Иди домой, домой, ДОМОЙ!

Дуглас вскинул голову и уставился на них невидящими глазами. Губы его подергивались. Он промычал что-то невнятное. Потом молча повернулся и бросился бежать. Молча бежал он к дальним холмам, в теплую тьму.

Франсина снова всхлипнула и заплакала и пошла дальше с Лавинией Неббс.

— Ну, наконец-то. Я уж думала, вы совсем не придете! — Элен Грир стояла на крылечке и нетерпеливо притоптывала ногой. — Вы опоздали всего лишь на какой-нибудь час. Что случилось?

— Мы… — начала было Франсина. Но Лавиния крепко стиснула ее руку.

— Там ужасный переполох. Кто-то нашел в овраге Элизабет Рэмсел.

— Мертвую? Она… умерла?

Лавиния кивнула. Элен ахнула и схватилась рукой за горло.

— Кто же ее нашел?

Лавиния крепко сжимала руку Франсины.

— Мы не знаем.

Три девушки стояли в сумерках летнего вечера и смотрели друг на друга.

— Мне почему-то хочется войти в дом и запереть все двери, — сказала наконец Элен.

Но в конце концов она пошла только надеть свитер; было еще тепло, но и она вдруг почувствовала, что зябнет.

Едва она скрылась за дверью, Франсина зашептала, как в лихорадке:

— Почему ты ей не сказала?

— Зачем ее расстраивать? — ответила Лавиния. — Успеется. Завтра скажу.

Три подруги пошли по улице под чернильно-черными деревьями мимо внезапно замкнувшихся домов. Как быстро разнеслась страшная весть — из оврага, от дома к дому, от крыльца к крыльцу, от телефона к телефону! И вот они идут и слышат, как защелкиваются дверные замки, и чувствуют на себе взгляды тех, кто прячется за спущенными шторами. Как странно: был обычный вечер, с трещотками, хлопушками и мороженым, руки пахли ванильным кремом от москитов — и вдруг детей точно вымело с улицы, они побросали все свои игры и разбежались по

домам, их упрятали в четырех стенах, за плотно занавешенными окнами, и только брошенные хлопушки валяются в лимонных и земляничных лужицах растаявшего мороженого. Странно: душные комнаты, там, за бронзовыми дверными молотками и ручками, битком набиты, люди задыхаются, все в испарине. Бейсбольные мячи и биты валяются на пустынных лужайках. На раскалившемся за день тротуаре, от которого идет пар, не дорисованы белым мелом «классы»... Точно секунду назад кто-то объявил, что сейчас грянет трескучий мороз.

— Мы просто сумасшедшие! Надо же — в такой вечер бродить по улицам! — заметила Элен.

— Душегуб не убьет сразу трех, — ответила Лавиния. — Втроем не опасно. И потом, бояться еще рано. Он убивает не чаще одного раза в месяц.

На их перепуганные лица упала тень. За деревом кто-то стоял. И словно кулак обрушился на клавиши органа — все три пронзительно вскрикнули на разные голоса.

— Ага, поймал! — зарычал густой бас.

И вот перед ними человек. Стремительно выскочил на свет и хохочет. Прислонился спиной к дереву, за которым только что прятался, указывает на девушек пальцем и знай себе хохочет!

— Эй, вы! Это я и есть Душегуб!

— Фрэнк Диллон!

— Фрэнк!

— Фрэнк!

— Фрэнк, — сказала Лавиния, — если вы еще когда-нибудь выкинете такую дурацкую шутку, пусть вас изрешетят пулями.

— Как не стыдно! — И Франсина истерически зарыдала. Улыбка сбежала с губ Фрэнка.

— Прошу прощенья, я никак не думал…

— Уходите! — сказала Лавиния. — Разве вы не слыхали про Элизабет? Ее нашли мертвую в овраге. А вы бегаете по ночам и пугаете женщин. Молчите, мы не хотим больше слышать ни слова.

— Послушайте, погодите…

Они пошли прочь. Он двинулся было за ними.

— Оставайтесь здесь, мистер Душегуб, пугайте самого себя. Пойдите посмотрите на лицо Элизабет Рэмсел — увидите, как все это забавно!

И Лавиния повела подруг дальше по улице, осененной деревьями и звездами. Франсина не отнимала от глаз платок.

— Франсина, ведь он пошутил, — сказала Элен. — Лавиния, почему она так плачет?

— После расскажем, когда придем в город. И

что бы там ни было, мы идем в кино! А теперь — хватит! Доставайте-ка деньги, мы уже почти пришли.

В аптеке застоялся теплый воздух; большие деревянные вентиляторы разгоняли его, и на улицу вырывались волны запахов — тянуло то арникой, то спиртом, то содой.

— Дайте мне на пять центов зеленых мятных конфеток, — сказала Лавиния хозяину. Как и у всех, кого они видели в этот вечер на полупустых улицах, лицо у него было бледное и решительное. — Надо же что-нибудь жевать в кино.

Он отвесил на пять центов зеленых конфет, насыпав их в кулек серебряным совком.

— Какие вы все нынче хорошенькие, — сказал он. — А днем, когда вы зашли выпить содовой с шоколадом, мисс Лавиния, вы были такая хорошенькая и серьезная, что один человек даже стал про вас расспрашивать.

— Вот как?

— Да, мужчина, что сидел вот тут, у стойки. Вы вышли, а он долго так глядел вам вслед и спрашивает: «Это кто такая?» — «Да это ж Лавиния Неббс, — говорю. — Самая хорошенькая девушка в городе». — «И вправду хороша, — говорит он. — А где она живет?»

Тут хозяин смутился и прикусил язык.

— Не может быть! — сказала Франсина. — Неужели вы дали ему адрес? Поверить не могу!

— Видите ли, я как-то не подумал… «Да на Парк-стрит, — говорю, — знаете, у самого оврага». Так просто, не подумавши. А вот сейчас, как услыхал, что Элизабет нашли убитую, так и спохватился. Бог ты мой, думаю, что же это я наделал!

И он подал Лавинии кулек, в котором конфет было куда больше, чем на пять центов.

— Какой дурак! — закричала Франсина, и глаза ее снова наполнились слезами.

— Извините меня. Да ведь, может, тут еще и нет ничего худого.

Все как завороженные смотрели на Лавинию. А она была совсем спокойна. Только чуть дрожало что-то внутри, будто перед прыжком в холодную воду. Машинально она протянула деньги за конфеты.

— Нет, ничего я с вас не возьму, — сказал хозяин, отвернулся и стал перебирать какие-то бумаги.

— Ну вот что. — Элен вскинула голову и решительным шагом пошла прочь из аптеки. — Сейчас я возьму такси, и мы все отправимся по домам. Я вовсе не намерена потом разыскивать по всей

округе твой труп, Лавиния. Тот человек замышляет недоброе. С какой это стати он про тебя расспрашивал? Может, ты хочешь, чтобы в следующий раз в овраге нашли тебя?

— Это был самый обыкновенный человек, — возразила Лавиния, медленно повернулась и обвела взглядом вечерний город.

— Фрэнк Диллон тоже человек, но, может быть, как раз он-то и есть Душегуб.

Тут они заметили, что Франсина не вышла из аптеки вместе с ними, оглянулись и увидели ее в дверях.

— Я заставила хозяина описать мне того человека, — сказала она. — Расспросила, какой он с виду. Говорит, нездешний, в темном костюме. Какой-то бледный и худой.

— Все мы с перепугу невесть чего навыдумывали, — сказала Лавиния. — Не поеду я ни в каком такси, и не уговаривайте меня. Если уж мне суждено стать следующей жертвой — что ж, так тому и быть. Жизнь вообще слишком скучна и однообразна, особенно для девицы тридцати трех лет от роду, так что уж не мешайте мне хоть на этот раз поволноваться. Да и вообще это глупо. Я вовсе не красивая.

— Ты очень красивая, Лавиния. Ты красивей

всех в городе, да еще теперь, когда Элизабет… — Франсина запнулась. — Просто ты чересчур гордая. Будь ты хоть немножко посговорчивей, ты бы уже давным-давно вышла замуж!

— Перестань хныкать, Франсина! Вот и касса. Я плачу сорок один цент и иду смотреть Чарли Чаплина. Если вам нужно такси — пожалуйста, поезжайте. Я посмотрю фильм и отлично дойду одна.

— Лавиния, ты с ума сошла! Мы не оставим тебя тут делать глупости.

Они вошли в кинотеатр.

Первый сеанс уже окончился, в тускло освещенном зале народу было немного. Три подруги уселись в среднем ряду, вокруг пахло лаком — должно быть, недавно протирали медные дверные ручки; и тут из-за выцветшей красной бархатной портьеры вышел хозяин и объявил:

— Полиция просила нас закончить сегодня пораньше, чтобы все могли прийти домой не слишком поздно. Поэтому мы не будем показывать хронику и сейчас же пускаем фильм. Сеанс окончится в одиннадцать часов. Всем советуют — идите прямо домой, не задерживайтесь на улицах.

— Это он говорит специально для нас, Лави-

ния, — прошептала Франсина.

Свет погас. Ожил экран.

— Лавиния, — шепнула Элен.

— Что?

— Когда мы сюда входили, улицу переходил мужчина в темном костюме. Он только что вошел в зал и сидит сейчас за нами.

— Ох, Элен!

— Прямо за нами?

Одна за другой все три оглянулись.

Они увидели незнакомое лицо, совсем белое в жутком неверном отсвете серебристого экрана. Казалось, в темноте над ними нависли лица всех мужчин на свете.

— Я позову управляющего! — И Элен пошла к выходу. — Остановите фильм! Зажгите свет!

— Элен, вернись! — крикнула Лавиния и встала.

Они поставили на столик пустые стаканы из-под содовой и, смеясь, слизнули ванильные усики от мороженого.

— Вот видите, как глупо получилось, — сказала Лавиния. — Подняли такой шум из ничего. Ужасно неудобно!

— Ну, я виновата, — тихонько отозвалась Элен. Часы показывали уже половину двенадцатого.

Три подруги вышли из темного кинотеатра, смеясь над Элен, с ними высыпали остальные зрители и зрительницы и заспешили кто куда, в неизвестность. Элен тоже пыталась смеяться над собой.

— Ты только представь себе, Элен: бежишь по проходу и кричишь: «Свет! Дайте свет!» Я подумала — сейчас умру. А каково тому бедняге!

— Он — брат управляющего, приехал из Расина.

— Я же извинилась, — возразила Элен, глядя на потолок, где все вертелся, вертелся и разгонял теплый ночной воздух огромный вентилятор, вновь и вновь обдавая их запахом ванили, мяты и креозота.

— Не надо нам было задерживаться тут, пить эту содовую. Ведь полиция предупреждала.

— Да ну ее, полицию! — засмеялась Лавиния. — Ничего я не боюсь. Душегуб уже, наверно, за тысячи миль отсюда. Он теперь не скоро вернется, а как явится снова, полиция его тут же сцапает, вот увидите. Правда, фильм чудесный?

Улицы были пусты — легковые машины и фургоны, грузовики и людей словно метлой вымело. В витринах небольшого универсального магазина еще горели огни, а согретые ярким светом

восковые манекены протягивали розовые восковые руки, выставляя напоказ пальцы, унизанные перстнями с голубовато-белыми бриллиантами, или задирали оранжевые восковые ноги, привлекая взгляд прохожего к чулкам и подвязкам. Жаркие, синего стекла, глаза манекенов провожали девушек, а они шли по улице, пустой, как русло высохшей реки, и их отражения мерцали в окнах, точно водоросли, расцветающие в темных волнах.

— Как вы думаете, если мы закричим, они прибегут к нам на помощь?

— Кто?

— Ну, публика эта, из витрин…

— Ох, Франсина!

— Не знаю…

В витринах стояла тысяча мужчин и женщин, застывших и молчаливых, а на улице они были только втроем, и стук их каблуков по спекшемуся асфальту пробуждал резкое эхо, точно вдогонку трещали выстрелы.

Красная неоновая вывеска тускло мигала в темноте и, когда они проходили мимо, зажужжала, как умирающее насекомое.

Впереди лежали улицы — белые, спекшиеся. Справа и слева над тремя хрупкими женщина-

ми вставали высокие деревья, и ветер шевелил густую листву лишь на самых макушках. С остроконечной башни здания суда показалось бы — летят по улице три пушинки одуванчика.

— Сперва мы проводим тебя, Франсина.

— Нет, я провожу вас.

— Не глупи, — возразила Лавиния. — Твой Электрик-парк — это такая даль. Проводишь меня, а потом тебе придется возвращаться домой через овраг. Да ведь если на тебя с дерева упадет хоть один листочек, у тебя будет разрыв сердца.

— Что ж, тогда я останусь ночевать у тебя, Лавиния, — сказала Франсина. — Ведь из всех нас ты самая хорошенькая.

Так они шли, двигаясь, будто три стройных и нарядных манекена, по залитому лунным светом морю зеленых лужаек и асфальта, и Лавиния приглядывалась к черным деревьям, что проплывали по обе стороны от них, прислушивалась к голосам подруг — они негромко болтали и пытались даже смеяться; и ночь словно ускоряла шаг, потом помчалась бегом — и все-таки еле плелась, и все стремительно неслось куда-то, и все казалось раскаленным добела и жгучим, как снег.

— Давайте петь, — предложила Лавиния. И они запели «Свети, свети, осенняя луна...». Они

шли, взявшись под руки, не оглядываясь назад, и задумчиво, вполголоса пели. И чувствовали, как раскаленный за день асфальт понемногу остывает у них под ногами.

— Слушайте! — сказала Лавиния.

Они прислушались к летней ночи. Стрекотали сверчки, вдалеке часы на здании суда пробили без четверти двенадцать.

— Слушайте!

Она и сама прислушивалась. В темноте скрипнул гамак — это мистер Терн вышел на веранду выкурить перед сном последнюю сигару и молча одиноко сидел в гамаке. Розовый кончик сигары медленно качался взад и вперед.

Огни постепенно гасли, гасли — и погасли совсем. Погасли огни в маленьких домишках, и в больших домах, желтые огни и зеленые, фонари и фонарики, свечи, керосиновые лампы и лампочки на верандах — и все живое спряталось за медными, железными, стальными замками, засовами и запорами, думала Лавиния, все живое забилось в тесные, темные каморки, завернулось и укрылось с головой. Люди лежат в кроватях, на них светит луна. Там, у себя в спальнях, они ничего не боятся, дышат ровно и спокойно, потому что они не одни. А мы идем по улице, по осты-

вающему ночному асфальту. И над нами светят редкие уличные фонари, отбрасывая неверные, пьяные тени.

— Вот и твой дом, Франсина. Спокойной ночи!

— Лавиния, Элен, переночуйте у меня. Уже очень поздно, почти полночь. Я уложу вас в гостиной. Сварю горячего шоколада… будет так весело! — Франсина обняла их обеих.

— Нет, спасибо, — сказала Лавиния. И Франсина заплакала.

— Ох, сделай милость, не начинай все сначала, — сказала Лавиния.

— Я не хочу, чтобы ты умерла, — всхлипывала Франсина, и слезы градом катились по ее щекам. — Ты такая красивая и милая, я хочу, чтобы ты осталась жива. Ну, пожалуйста, пожалуйста, не уходи!

— Вот уж не думала, что ты из-за этого так разволнуешься. Я приду домой и сразу тебе позвоню.

— Обещаешь?

— Ну конечно, и скажу, что все в порядке. А завтра мы устроим в Электрик-парке пикник. Я сама приготовлю сандвичи с ветчиной. Ладно? Видишь, я вовсе не собираюсь умирать.

— Значит, ты позвонишь?

— Я же обещала!

— Ну, тогда спокойной ночи, спокойной ночи! — Франсина одним духом взбежала на крыльцо и юркнула в дверь, которая тотчас же захлопнулась за ней, и следом загремел засов.

— Теперь я отведу домой тебя, Элен, — сказала Лавиния.

Часы на здании суда пробили полночь. Звуки летели над пустынным городом — никогда еще не был он таким пустынным. И замерли над пустынными улицами, над пустыми палисадниками и опустелыми лужайками.

— Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, — считала Лавиния, держа Элен под руку.

— Правда, чувствуешь себя как-то странно? — спросила Элен.

— Ты о чем?

— Как подумаешь, что мы сейчас идем по улице, а все люди преспокойно лежат в постели за запертыми дверями. Ведь сейчас, наверно, на тысячу миль вокруг только мы одни остались под открытым небом.

До них донесся смутный шум, идущий из теплой и темной глубины: овраг был уже недалеко.

Через минуту они стояли у дома Элен и долгим взглядом смотрели друг на друга. Ветер дохнул

запахом прозрачной свежести. По небу потянулись облака, и луна померкла.

— Может быть, все-таки останешься у меня, Лавиния?

— Нет, я пойду домой.

— Иногда…

— Что иногда?

— Иногда мне начинает казаться, что люди сами ищут смерти. Сегодня вечером ты ведешь себя престранно.

— Просто я ничуть не боюсь, — ответила Лавиния. — И мне, наверно, немножко любопытно. И я не теряю головы. Если рассуждать трезво, Душегуб никак не может сейчас быть где-нибудь поблизости. Такой переполох, и вся полиция на ногах.

— Твоя полиция давно уже дома и спит сладким сном.

— Ну, скажем так: я развлекаюсь, хоть и чуть рискованно, но в общем не опасно. Если бы это было и в самом деле опасно, я бы, конечно, осталась у тебя.

— А вдруг в глубине души тебе и правда не хочется жить?

— Глупости! И что вы с Франсиной такое выдумываете!

— Мне так совестно! Ты только еще доберешься до дна оврага и пойдешь по мосту, а я уже буду пить горячее какао!

— Выпей чашку за мое здоровье. Спокойной ночи!

Лавиния Неббс вышла одна на спящую улицу, в безмолвие августовской ночи. Дома стояли темные, ни одно окно не светилось, где-то лаяла собака. «Через пять минут я буду уже дома и в безопасности, — думала Лавиния. — Через пять минут я позвоню этой глупышке Франсине. Я…»

И тут она услышала голос.

Вдалеке, меж деревьев, мужской голос пел: «Под июньской луной жду свиданья с тобой…»

Лавиния прибавила шагу.

Голос пел: «Я тебя обниму… и своей назову…»

В тусклом лунном свете по улице ленивой, беспечной походкой шел человек.

«Если уж придется, побегу и постучусь в любую дверь», — думала Лавиния.

«Под июньской луной жду свиданья с тобой», — пел незнакомец, помахивая длинной дубинкой.

— Ба, кто это тут бродит? Нашли время для прогулок, мисс Неббс, нечего сказать!

— Сержант Кеннеди? — Разумеется, это был он.

— Давайте-ка я провожу вас до дому.

— Спасибо, я и одна дойду.

— Но ведь придется идти через овраг…

Да, думала Лавиния, но с мужчиной я через овраг не пойду, даже если он полицейский. Откуда мне знать, кто из вас Душегуб?

— Ничего, — сказала она. — Я пойду быстро.

— Тогда я подожду здесь, — предложил он. — Если вам понадобится помощь, только крикните. Я услышу и тотчас прибегу.

— Спасибо.

И она пошла дальше, а он остался один под фонарем и опять замурлыкал свою песенку.

«Ну вот», — сказала она себе.

Овраг.

Лавиния стояла на верхней из ста тринадцати ступенек, которые вели вниз по крутому склону; потом надо было пройти семьдесят ярдов по мосту и снова подняться наверх, к Парк-стрит. И на всем этом пути — только один фонарь. Через три минуты я поверну ключ, и отопру дверь моего дома, и войду, подумала она. Ничего со мной не случится за какие-нибудь сто восемьдесят секунд.

Она начала спускаться по бесконечным, позеленевшим от плесени ступенькам в овраг.

— Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, во-

семь, девять, десять, — считала она их шепотом.

Лавиния шла медленно, но задыхалась, точно от быстрого бега.

— Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать ступенек, — задыхаясь, шептала она.

— Это уже пятая часть пути, — объявила она себе. Овраг был глубокий и черный, черный, непроглядно-черный! И весь мир остался позади, мир тех, кто спокойно спит в своей постели; запертые двери, город, аптека, кинотеатр, огни — все осталось позади. А здесь — один овраг, только он вокруг — черный и огромный.

— Ведь ничего не случилось, правда? И никого здесь нет. Двадцать четыре ступеньки, двадцать пять. А помнишь, в детстве мы пугали друг друга сказками о привидениях?

Она прислушалась к собственным шагам — они отсчитывали ступеньку за ступенькой.

— Помнишь сказочку про то, как в дом к тебе приходит черный человек, а ты уже лежишь в постели? И вот он уже на первой ступеньке лестницы, которая ведет к тебе в спальню. Вот он уже на второй ступеньке. Вот уже на третьей, на четвертой, на пятой! Помнишь, как вы все визжали и смеялись, слушая эту сказочку? И вот ужасный

черный человек уже на двенадцатой ступеньке, вот он открывает дверь в твою комнату, вот стоит у твоей кровати. «АГА, ПОПАЛАСЬ!»

Лавиния вскрикнула. Никогда в жизни она не слыхала такого отчаянного вопля. И сама никогда в жизни не кричала так громко. Она остановилась, замерла на месте и ухватилась за деревянные перила. Сердце в груди разрывалось. Его неистовый стук, казалось, заполнил вселенную.

«Вот, вот оно! — кричало что-то у нее внутри. — Там, внизу, под фонарем кто-то стоит! Нет, уже скрылся. Но он меня ждал!»

Лавиния прислушалась.

Тишина.

На мосту — никого.

Ничего там нет, думала она, держась за сердце. Ничего. Дура я! Зачем было вспоминать эту сказку? До чего глупо! И что мне теперь делать?

Сердце понемногу успокоилось.

Позвать сержанта Кеннеди? Может, он слышал, как я завопила?

Она снова прислушалась. Ничего. Ничего.

Пойду дальше. Это все та глупая сказка виновата.

Она опять начала считать ступеньки.

— Тридцать пять, тридцать шесть, осторожно, не упасть бы. Я просто дура. Тридцать семь, тридцать восемь… девять, сорок и еще две, значит, сорок две, уже почти полпути.

Она снова замерла.

— Погоди, — сказала она себе. Сделала шаг. Раздалось эхо. Еще шаг. Снова эхо. Чужой шаг, на долю секунды позже.

— Кто-то идет за мной, — шепнула она оврагу, черным сверчкам, и затаившимся зеленым лягушкам, и черной речке. — Кто-то идет сзади по лестнице. Я боюсь обернуться.

Еще шаг, снова эхо.

— Как только я шагну, он тоже шагает. Шаг и эхо.

— Сержант Кеннеди, это вы? — нерешительно спросила она у оврага.

Сверчки молчали.

Сверчки прислушивались. Ночь прислушивалась к ней и к ее шагам. Все дальние ночные луга и все ближние ночные деревья вокруг, против обыкновения, застыли и не шевелились; листья, кусты, звезды и трава в лугах — все вдруг замерло и слушало, как бьется сердце Лавинии Неббс. И может быть, где-то за тысячу миль, на глухом полустанке, где от поезда до поезда — целая веч-

ность, одинокий путник читает сейчас газету при тусклом свете единственной лампочки — и вдруг поднимет голову, прислушается и спросит себя: что это? И подумает: наверно, просто дятел стучит по дуплистому стволу. Но нет, это не дятел, это Лавиния Неббс, это ее сердце стучит так громко.

Тишина. Тишина летней ночи, что раскинулась на тысячи миль, затопила землю, точно белое море, полное теней. Скорей, скорей! Все ниже по ступенькам. Беги!

Она услышала музыку. Безумие, глупость, но на нее обрушилась мощная волна музыки, и тут оказалось — она бежит, бежит в страхе и ужасе, а в каком-то уголке сознания, еще усиливая и нагнетая страх, звучит грозная, тревожная музыка и толкает ее все дальше, дальше, скорее, скорее, и она летит и падает все ниже, ниже, на самое дно оврага.

— Еще немножко! — молила Лавиния. — Сто восемь, девять, сто десять ступенек! Наконец-то дно! Теперь бегом! Через мост!

Она торопила руки, ноги, все тело, весь свой страх, она приказывала всем фибрам своего существа в эту ослепительную и страшную минуту, когда она бежала над шумной быстрой речкой по пустынным, гулким, качающимся и упругим,

чуть ли не живым доскам, а за ней по мосту гнались шаги и настигали, настигали, и музыка тоже гналась следом, пронзительная и бессвязная…

Он догоняет, не оборачивайся, не смотри, если увидишь его — перепугаешься насмерть и уже не сможешь двинуться с места. Беги, беги!

Она бежала по мосту.

Господи боже, прошу тебя, молю, дай мне взбежать наверх! Вот и подъем, тропинка, теперь между холмов, ох, как темно, и все так далеко! Если я даже закричу, теперь это уже не поможет; да я и не в силах кричать. Ну вот, конец тропки, вот и улица; господи, хоть бы добраться, если только я доберусь домой, больше никогда в жизни никуда не пойду одна. Я была дура, ну да, я была дура, я не знала, что такое страх, но только бы добраться сегодня домой — клянусь, я уже никогда никуда не пойду без Элен или Франсины! Вот и улица. Теперь через дорогу!

Она перебежала дорогу и кинулась дальше по тротуару.

Ну вот крыльцо! Мой дом! Господи, дай мне еще минутку, я войду и запру дверь — и я спасена!

И тут — как глупо, некогда сейчас замечать такие пустяки, скорей, скорей, не терять ни секунды, и все-таки она заметила: он блестит в

темноте — недопитый стакан лимонада, она оставила его тут, на веранде, давным-давно, год назад, целых полвечера тому назад… Стакан с лимонадом стоит тут преспокойно, как ни в чем не бывало… и…

Непослушные ноги поднялись по ступенькам крыльца, руки тряслись и никак не попадали в замок ключом. Сердце стучало на весь свет. И что-то внутри отчаянно кричало от страха.

Наконец-то ключ в замке.

Открывай же, скорей, скорей!

Дверь распахнулась.

Скорей туда. Захлопывай!

Она захлопнула дверь.

— Теперь на ключ, на засов, на все запоры! — задыхаясь, прошептала Лавиния. — Крепче, крепче, надежнее!

Дверь заперта крепко, надежно.

Музыка умолкла. Она вновь прислушалась к стуку сердца — он понемногу стихал.

Дома! Наконец-то! Дома и в безопасности! Спасена, спасена, дома! Она в изнеможении прислонилась спиной к двери. Спасена, спасена! Слушай! Ни звука. Спасена, слава богу, спасена, в безопасности, дома. Никогда, никогда больше не выйду вечером на улицу. Буду сидеть дома.

Никогда в жизни больше не пойду через этот овраг! Дома, дома, спасена, все хорошо, как все хорошо! Дверь заперта, все хорошо. Стоп! Выгляни в окно.

Она выглянула.

Да ведь там никого нет! Никого! И никто вовсе за мной и не шел. Никто меня не догонял. Лавиния вздохнула и чуть было не засмеялась над собой. Ну ясно же! Если бы кто-то за мной гнался, он бы, конечно, меня поймал! Не так уж я быстро бегаю… И на веранде никого нет, и во дворе тоже… Какая я глупая! Ни от чего я не убегала. В этом овраге так же безопасно, как в любом другом месте. И все-таки как хорошо дома! Так тепло, уютно, нет лучше места на земле!

Она протянула руку к выключателю и замерла.

— Что? — сказала она. — Что? Что такое?!

У нее за спиной кто-то откашлялся.

— А, чтоб им пусто было, все-то они портят!

— Да ты не расстраивайся, Чарли!

— Ну ладно, а про что мы теперь будем говорить? Какой толк говорить про Душегуба, если его даже нет больше в живых? Это теперь ни капельки не страшно.

— Не знаю, как ты, Чарли, — сказал Том, — а я опять пойду к «Летнему льду». Сяду там у двери

и стану воображать, будто он живой, и опять у меня мороз пойдет по коже.

— Ну, это обман.

— А как же быть, если кругом нет ничего страшного? Приходится что-то придумывать.

Дуглас не слушал, что говорят Том с Чарли. Он глядел на дом Лавинии Неббс и бормотал:

— Вчера вечером я был в овраге. Я это видел. Я все видел. А по дороге домой проходил тут. И видел этот самый стакан с лимонадом на веранде, там еще оставался лимонад. Мне даже захотелось его допить. Вот бы, думаю, допить его. Я был в овраге и тут тоже. Я был в самой-самой гуще всего.

Том и Чарли, в свою очередь, не обращали никакого внимания на Дугласа.

— Если хочешь знать, — говорил Том, — я и не верю вовсе, что Душегуб умер.

— Да ты ж сам был тут утром, когда «Скорая помощь» вынесла этого человека на носилках.

— Ясно, был, — сказал Том.

— Ну вот, это он самый и есть — Душегуб, дурень ты! Читай газеты! Целых десять лет он увертывался и не попадался — и вот старушка Лавиния Неббс берет и протыкает его самыми обыкновенными ножницами! Вечно суются не

в свое дело.

— Что же ей, по-твоему, сложить руки и пускай он ее спокойненько душит?

— Нет, зачем же, но хоть выскочила бы из дому, побежала бы, что ли, по улице, заорала бы: «Душегуб! Душегуб!» А он бы тем временем улизнул. Да-а, до вчерашней полуночи у нас в городе было хоть что-то хорошее. А теперь такая тишь да гладь, что даже тошно!

— В последний раз говорю тебе, Чарли: Душегуб не умер. Я видел его лицо, и ты тоже видел. И Дуг видел его, верно, Дуг?

— Что? Да, кажется. Да.

— Все его видели. Так вот, вы мне скажите: похож он, по-вашему, на Душегуба?

— Я… — начал Дуглас и умолк. Прошло секунд пять.

— Бог ты мой, — прошептал наконец Чарли. Том ждал и улыбался.

— Он ни капельки не похож на Душегуба, — ахнул Чарли. — Он похож просто на человека!

— Вот то-то и оно! Сразу видно — самый обыкновенный человек, который даже мухи не обидит! Уж если ты Душегуб, так должен быть и похож на Душегуба, верно? А этот похож на лотошника — знаешь, который вечером перед кино торгует

конфетами.

— Что ж, по-твоему, это был просто какой-нибудь бродяга? Шел по городу, увидал пустой дом и забрался туда, а мисс Неббс взяла да там его и убила?

— Ясно.

— Постой-ка! Мы ведь не знаем, какой Душегуб с виду. Никаких его карточек мы не видали. А кто его видел, те ничего сказать не могут, потому что они уже мертвые.

— Ты отлично знаешь, какой Душегуб с виду, и я знаю, и Дуг тоже. Он обязательно высокий, да?

— Ясно…

— И обязательно бледный, да?

— Правильно, бледный.

— И костлявый, как скелет, и волосы длинные, черные, да?

— Ну да, я всегда так и говорил.

— И глазищи вылупленные и зеленые, как у кошки?

— Правильно, весь тут, тютелька в тютельку.

— Ну вот. — Том фыркнул. — Вы же видели этого беднягу, которого выволокли из дома мисс Неббс. Какой он, по-вашему?

— Маленький, лицо красное и даже вроде толстый, волос — кот наплакал и те какие-то

рыжеватые… Ай да Том, попал в самую точку! Пошли! Зови ребят! Ты им тоже все растолкуешь. Ясно, Душегуб живой! Он сегодня ночью опять будет всюду рыскать и искать себе жертву.

— Угу, — сказал Том и вдруг задумался.

— Ты молодчина, Том, здорово соображаешь. Никто бы из нас не сумел вот так поправить все дело. Целое лето чуть не полетело вверх тормашками, спасибо ты вовремя выручил. Август будет не вовсе пропащий! Эй, ребята!

И Чарли умчался прочь, крича во все горло и размахивая руками.

А Том все стоял на тротуаре перед домом Лавинии Неббс. Он был бледен.

— Бог ты мой, — шептал он. — Что же я такое натворил?

И повернулся к Дугласу.

— Послушай, Дуг, что же это я натворил? — Дуглас не сводил глаз с дома. Губы его шевелились.

— Вчера вечером я был в овраге. Я видел Элизабет Рэмсел. И я проходил здесь по дороге домой. И видел стакан с лимонадом там, на веранде. Только вчера вечером. Я даже мог его выпить… Я его чуть не выпил…

Она была из тех женщин, у кого в руках все-

гда увидишь метлу, или пыльную тряпку, или мочалку, или поварешку. Утром она, что-то мурлыча себе под нос, срезала с пирога подгоревшую корочку, днем ставила пироги в духовку, а в сумерки вынимала их. Когда она несла в буфет фарфоровые чашки, они звенели, точно колокольчики. Она неутомимо сновала по комнатам, словно пылесос, выискивая малейшие пылинки, наводя везде чистоту и порядок. В каждом окне стекла сверкали, как зеркала, вбирая в себя солнечные лучи. Дважды в день она обходила весь сад с лопаткой в руках — и всюду, где она проходила, тотчас распрямлялись и вспыхивали ярче трепетные огоньки цветов. Спала она спокойным сном, за всю ночь переворачивалась с боку на бок раза три, не больше, — она вся отдыхала, точно белая перчатка, которую на рассвете вновь заполнит неутомимая рука. А проснувшись, легко касалась людей и поправляла их, как покосившиеся картины.

Но теперь…

— Бабушка, — говорили все в доме. — Прабабушка. Казалось, надо было сложить длинный-длинный столбик чисел — и вот теперь наконец под чертой выводишь самую последнюю, окончательную. Она начиняла индеек, цыплят, голубей,

взрослых людей и мальчишек. Она мыла потолки, стены, больных и детей. Она настилала на полы линолеум, чинила велосипеды, разводила огонь в печах, мазала йодом тысячи царапин и порезов. Неугомонные руки ее не знали устали — весь день они утоляли чью-то боль, что-то разглаживали, что-то придерживали, кидали бейсбольные мячи, размахивали яркими крокетными молотками, сажали семена в черную землю, укрывали то яблоки, запеченные в тесте, то жаркое, то детей, разметавшихся во сне. Она опускала шторы, гасила свечи, поворачивала выключатели и… старела. Если оглянуться назад, видно: она переделала на своем веку тысячи миллионов самых разных дел, и вот все сложено и подсчитано, выведена последняя цифра, последний ноль медленно становится на место. И теперь, с мелом в руке, она отступила от доски жизни, и молчит, и смотрит на нее, и сейчас возьмет тряпку и все сотрет.

— Что-то я еще хотела… — сказала прабабушка. — Что-то я хотела…

Без всякого шума и суматохи она обошла весь дом, добралась наконец до лестницы и, никому ничего не сказав, одна поднялась на три пролета, вошла в свою комнату и молча легла, как

старинная мумия, под прохладные белоснежные простыни и начала умирать. И опять голоса:

— Бабушка! Прабабушка!

Слухи о том, чем она там занимается, скатились вниз по лестнице, ударились о самое дно и расплескались по комнатам, за двери и окна, по улице вязов до края зеленого оврага.

— Сюда, сюда!

Вся семья собралась у ее постели.

— Не мешайте мне лежать спокойно, — шепнула она. Ее недуг не разглядеть было ни в какой микроскоп; тихо, но неодолимо нарастала усталость, все тяжелело маленькое и хрупкое, как у воробышка, тело, и сон затягивал — глубоко, все глубже и глубже.

А ее детям и детям ее детей никак не верилось: ведь то, что происходит, так просто и естественно, и ничего неожиданного тут нет, откуда же у них такая тревога?

— Послушай, бабушка, это просто нечестно. Ты же знаешь, без тебя развалится весь дом. Нам надо приготовиться, дай нам хоть год сроку!

Прабабушка открыла один глаз. Все ее девяносто лет спокойно глядели на врачей, как призрак из чердачного окна пустующего дома.

— Том…

Мальчика прислали одного; он подошел к самой кровати, чтобы расслышать шепот.

— Том, — слабо, издалека шептала прабабушка. — В южных морях наступает в жизни каждого мужчины такой день, когда он понимает: пора распрощаться со всеми друзьями и уплыть прочь, и он так и делает, и так оно и должно быть, потому что настал его час. Вот так и сегодня. Мы с тобой очень похожи — ты тоже иногда засиживаешься на субботних утренниках до девяти вечера, пока мы не пошлем за тобой отца. Но помни, Том, когда те же ковбои начинают стрелять в тех же индейцев на тех же горных вершинах, самое лучшее — тихонько встать со стула и пойти прямиком к выходу, и не стоит оглядываться, и ни о чем не надо жалеть. Вот я и ухожу, пока я все еще счастлива и жизнь мне еще не наскучила.

Следующим к ней привели Дугласа.

— Бабушка, кто же весной будет крыть крышу? — Каждую весну, в апреле — так повелось с незапамятных времен, — на крыше поднимался перестук, точно ее долбили дятлы. Но это были не птицы: туда невесть каким образом забиралась прабабушка и под самым небом, весело напевая, забивала гвозди и меняла черепицы.

— Дуглас, — прошептала она. — Никогда не

позволяй никому крыть крышу, если это не доставляет ему удовольствия.

— Хорошо, бабушка.

— Как придет апрель, оглянись вокруг и спроси: «Кто хочет чинить крышу?» И если кто-нибудь обрадуется, заулыбается, он-то тебе и нужен. Потому что с этой крыши виден весь город, и он тянется к полям, а поля тянутся за край земли, и река блестит, и утреннее озеро, и птицы поют на деревьях под тобой, и тебя овевает самый лучший весенний ветер. Даже чего-нибудь одного довольно, чтобы весной на заре человек с радостью забрался хоть на флюгер. Это — час великих свершений, дай только случай…

Ее голос постепенно затих.

Дуглас плакал.

Она вновь встрепенулась.

— Отчего же ты плачешь?

— Оттого, что завтра тебя здесь не будет. — Старуха поглядела в маленькое ручное зеркальце, потом повернула его к мальчику. Он посмотрел на ее отражение, потом на свое, потом снова на нее.

— Завтра утром я встану в семь часов и хорошенько вымою уши и шею, — сказала она. — Потом побегу с Чарли Вудменом в церковь, потом на

пикник в Электрик-парк. Я буду плавать, бегать босиком, падать с деревьев, жевать мятную жевательную резинку… Дуглас, Дуглас, ну как тебе не стыдно? Ногти ты себе стрижешь?

— Да, бабушка.

— И не плачешь, когда твое тело возрождается каждые семь лет или вроде этого — когда у тебя на пальцах и в сердце отмирают старые клетки и рождаются новые? Ведь это тебя не огорчает?

— Нет, бабушка.

— Ну вот, подумай, мальчик. Только дурак станет хранить обрезки ногтей. Ты когда-нибудь видал, чтобы змея старалась сохранить свою старую кожу? А ведь в этой кровати сейчас только и осталось, что обрезки ногтей да старая, облезлая кожа. Стоит один лишь разок вздохнуть поглубже — и я рассыплюсь в прах. Главное — не та я, что тут лежит, а та, что сидит на краю кровати и смотрит на меня, и та, что сейчас внизу готовит ужин, и та, что возится в гараже с машиной или читает книгу в библиотеке. Все это — частицы меня, они-то и есть самые главные. И я сегодня вовсе не умираю. Никто никогда не умирает, если у него есть дети и внуки. Я еще очень долго буду жить. И через тысячу лет будут жить на свете мои потомки — полный город! И они будут грызть

кислые яблоки в тени эвкалиптов. Вот мой ответ всем, кто задает мудреные вопросы. А теперь быстро пришли сюда всех остальных!

И наконец вся семья собралась в спальне — стоят, точно на вокзале провожают кого-то в дальний путь.

— Ну вот, — говорит прабабушка, — вот и все. Скажу честно: мне приятно видеть всех вас вокруг. На будущей неделе принимайтесь за работы в саду, и за уборку в чуланах, и пора закупить детям одежду на зиму. И раз уж здесь не будет той частицы меня, которую для удобства называют прабабушкой, разные другие частицы, которые называются дядя Берт, и Лео, и Том, и Дуглас, и все остальные, должны меня заменить, и всякий пусть делает что сможет.

— Хорошо, бабушка.

— И, пожалуйста, не устраивайте здесь завтра никакого шума и толчеи. Не желаю, чтобы про меня говорили всякие лестные слова: я сама все их с гордостью сказала в свое время. Я на своем веку отведала каждого блюда и станцевала каждый танец — только один пирог еще надо попробовать, только одну мелодию остается спеть. Но я не боюсь. По правде говоря, мне даже интересно. Я ничего не собираюсь упустить, надо вкусить и

от смерти. И, пожалуйста, не волнуйтесь за меня. А теперь уходите все и дайте мне уснуть…

Где-то тихонько закрылась дверь.

— Вот так-то лучше…

Она уютно свернулась в теплом сугробе полотна и шерсти, простынь и одеял, и лоскутное покрывало горело всеми цветами радуги, точно цирковые флажки в старину. Так она лежала, маленькая, затихшая, и ждала — чего же? — совсем как восемьдесят с лишком лет назад, когда, просыпаясь по утрам, она нежилась в постели, расправляя еще не окрепшие косточки.

«Когда-то очень давно, — думала она, — мне снился сон, и он был такой хороший, и вдруг меня разбудили — это было в тот день, когда я родилась. А теперь? Постой-ка, дай сообразить… — Она унеслась мыслями в прошлое. — Да, так о чем, бишь, я?.. — думала она. — Девяносто лет… Как теперь подхватить ту ниточку и воскресить тот давний сон? — Она высунула из-под одеяла высохшую руку. — А, вот… Да, вот оно». Она улыбнулась. Повернула голову на подушке, погружаясь глубже в теплый, пушистый снег. Вот так-то лучше. Да, теперь он снова возникал в ее памяти, спокойно и безмятежно, как тихое море, что плещет о бесконечный, вечнозеленый берег.

И вот давний сон теплой волной коснулся ее, и поднял из снежного сугроба, и бережно понес над забытой уже кроватью.

Внизу они чистят серебро, думала она, прибирают в погребе и подметают комнаты и коридоры. Слышно, как по всему дому идет неугомонная жизнь.

— Все хорошо, — прошептала прабабушка, и сон подхватил ее. — Как и все в жизни, это правильно, все так и должно быть.

И волны повлекли ее в открытое море.

— Привидение! — закричал Том.

— Нет, — ответил голос. — Это я.

В темную спальню, наполненную ароматом яблок, ворвался призрачный свет. Баночка размером в четверть литра, точно повисшая в воздухе, переливалась множеством мерцающих огоньков. В этом мертвенно-бледном сиянии торжественно светились глаза Дугласа. Он так загорел, что его лицо и руки совсем растворились в темноте, а ночная сорочка казалась бесплотным видением.

— Ух ты! — выдохнул Том. — Двадцать, тридцать светлячков!

— Ш-ш, не ори!

— Зачем они тебе?

— Когда мы читали по вечерам с фонариками

под одеялом, нам попало, да? Ну вот, а если тут будет стоять банка со светлячками, все подумают, что это просто коллекция.

— Дуг, ты гений!

Но Дуглас не ответил. Он с важностью водрузил мерцающую и подмигивающую банку на ночной столик, взял карандаш и стал усердно писать что-то в своем блокноте. Светлячки горели, умирали, снова горели и снова умирали, в глазах мальчика вспыхивали и гасли три десятка переменчивых зеленых огоньков, а он все писал — десять минут, двадцать, черкал, исправлял строчку за строчкой, записывал и вновь переписывал сведения, которые так жадно, второпях копил все лето. Том лежал и как завороженный не сводил глаз с крохотного живого костра, что вздрагивал, полыхал и замирал в банке, и наконец так и уснул, опершись на локоть, а Дуглас все писал и писал. На последней странице он подвел итог всему.

НЕЛЬЗЯ ПОЛАГАТЬСЯ НА ВЕЩИ, ПОТОМУ, ЧТО:

… взять, например, машины: они разваливаются, или ржавеют, или гниют, или даже остаются недоделанными… или кончают свою жизнь в гараже…

… или взять теннисные туфли: в них можно пробежать всего лишь столько-то миль и с та-

кой-то быстротой, а потом земля опять тянет тебя вниз…

… или трамвай. Уж на что он большой, а всегда доходит до конца, там уж и рельсов нет, и дальше ему идти некуда…

НЕЛЬЗЯ ПОЛАГАТЬСЯ НА ЛЮДЕЙ, ПОТОМУ ЧТО:

… они уезжают…

… чужие люди умирают…

… знакомые тоже умирают…

… друзья умирают…

… люди убивают других людей, как в книгах…

… твои родные тоже могут умереть… ЗНАЧИТ…

Дуглас глубоко вздохнул и медленно, шумно выдохнул, опять набрал полную грудь воздуха и опять, стиснув зубы, выдохнул его. ЗНАЧИТ, он дописал огромными, жирными буквами:

ЗНАЧИТ, ЕСЛИ ТРАМВАИ, И БРОДЯГИ, И ПРИЯТЕЛИ, И САМЫЕ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ МОГУТ УЙТИ НА ВРЕМЯ ИЛИ НАВСЕГДА, ИЛИ ЗАРЖАВЕТЬ, ИЛИ РАЗВАЛИТЬСЯ, ИЛИ УМЕРЕТЬ, И ЕСЛИ ЛЮДЕЙ МОГУТ УБИТЬ, И ЕСЛИ ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ПРАБАБУШКА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ВЕЧНО, ТОЖЕ МОГУТ УМЕРЕТЬ… ЕСЛИ ВСЕ ЭТО ПРАВДА… ЗНАЧИТ, Я, ДУГЛАС СПОЛДИНГ, КОГДА-НИБУДЬ… ДОЛЖЕН…

Вот тут светлячки, точно придавленные его мрачными мыслями, мигнули в последний раз и погасли.

Все равно я сейчас больше не могу писать, подумал Дуглас. Больше я сегодня писать не стану. Не стану, не хочу кончать про это сегодня.

Он оглянулся на Тома — тот спал, опершись на локоть. Дуглас тронул его за руку, и Том со вздохом повалился на подушку.

Дуглас поднял банку с угасшими темными комочками, и, точно его рука их оживила, в банке снова засветились холодные огоньки. Он поднял ее так, чтобы мерцающий свет падал на его блокнот. Надо было дописать самые окончательные, последние слова. Но он не стал их писать, а подошел к окну и распахнул раму с москитной сеткой. Потом отвинтил крышку банки и каскадом бледных искр высыпал светлячков в безветренную ночь. Они расправили крылышки и улетели.

Дуглас проводил их глазами. Они исчезли точно бледные обрывки последних сумерек в истории умирающего мира. Они выскользнули у него из рук как последние обрывки теплившейся надежды. Темнота окутала его лицо и все тело, темнота хлынула внутрь. Он остался опустошенный, как банка из-под светлячков, которую он,

сам того не замечая, положил с собой в кровать, когда пытался заснуть…

Ночь за ночью она сидела в своем стеклянном гробу и ждала; тело ее таяло в карнавальном блеске лета, зябло в призрачных ветрах зимы, уголки губ приподнялись в улыбке, крючковатый восковой нос навис над бледно-розовыми, морщинистыми восковыми руками, навсегда застывшими над раскинувшейся веером колодой старинных карт. Колдунья Таро! Восхитительное имя! Колдунья Таро. Сунешь в серебряную щель монетку, и где-то далеко внизу, в самой глубине, внутри хитроумного механизма что-то застонет, заскрипит, повернутся какие-то рычажки, завертятся колесики. И колдунья в стеклянном ящике поднимет голову и ослепит тебя одним острым как игла взглядом. Неумолимая левая рука опустится и скользнет по картам, словно перебирая таинственные квадратики — черепа, чертей, висельников, пустынников, кардиналов и клоунов, и голова склонится низко-низко, точно вглядываясь: что они тебе сулят, карты, — горе, убийство, надежду или здоровье, возрождение по утрам и новую смерть каждый вечер? Потом она тонким паутинным почерком выведет что-то на одной из карт и выпустит ее, и карта порхнет по кру-

тому желобу прямо тебе в руки. И тут колдунья сверкнет в тебя на прощанье уже тускнеющими глазами и вновь застынет в своей неизменной стеклянной скорлупе на долгие месяцы и годы, пока новая медная монетка не возродит ее, всеми забытую, снова к жизни. Сейчас, мертвая и восковая, она, казалось, неохотно ждала приближения двух братьев.

Дуглас приложил пятерню к стеклу.

— Вот она.

— Обыкновенная восковая кукла, — сказал Том. — И зачем ты привел меня глядеть на нее?

— Вечно ты допытываешься — зачем да почему! — завопил Дуглас. — Потому что потому кончается на «у».

Потому что… огни галереи затуманились… потому что…

Однажды вдруг оказывается, что ты живой.

Взрыв! Потрясение! Озарение! Восторг!

Ты хохочешь, пляшешь, кричишь.

Но очень скоро солнце заходит за тучи. В жаркий августовский полдень сыплет снег, только никто его не видит.

В ковбойском фильме в прошлую субботу на раскаленном экране человек упал мертвым. Дуглас вскрикнул. За несколько лет у него на гла-

зах застрелили, повесили, сожгли, уничтожили миллион ковбоев. Но сейчас, когда убили этого человека…

Никогда больше он не будет ходить, бегать, сидеть, смеяться, плакать, никогда не будет ничего делать, думал Дуглас. Сейчас он уже холодеет. Зубы Дугласа выбивали дробь, сердце стучало медленно и трудно. Он изо всех сил зажмурился, его трясло от беззвучных подавленных рыданий.

Пришлось удрать от остальных ребят — ведь они не думали о смерти, они смеялись и улюлюкали мертвецу, как будто он был еще живой. Дуглас и мертвец отплыли в лодке, а ярко освещенный берег остался позади, и там бегали, прыгали и бесновались остальные, не зная, что лодка с Дугласом и мертвецом плывет, плывет все дальше, уже уплыла в темноту. Дуглас с плачем побежал в пахнувшую известью мужскую комнату, и там его вырвало — точно огненные струи трижды обожгли ему горло.

Он ждал, когда пройдет тошнота, и думал: сколько людей, которых я знал, умерли этим летом… Полковник Фрилей умер! А я этого раньше толком и не понял. Почему? И прабабушка тоже умерла. По-настоящему умерла — и кончено. И это еще не все… (Он запнулся.) А я? Нет, они

не могут убить меня! «Да, — сказал голос внутри, — да, могут, стоит им только захотеть, как ни брыкайся, как ни кричи, тебя просто придавят огромной ручищей, и ты затихнешь…» Я не хочу умирать, — беззвучно закричал Дуглас. «Все равно придется, — сказал голос внутри, — хочешь не хочешь, а придется».

Солнце за окнами кинотеатра освещало какую-то ненастоящую улицу, ненастоящие дома, и люди двигались так медленно, словно затонули в ослепительных тяжелых волнах чистого горящего газа, и Дуглас думал: никуда не денешься, пора, надо идти домой и дописать в блокноте последнюю строчку: КОГДА-НИБУДЬ Я, ДУГЛАС СПОЛДИНГ, ТОЖЕ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ…

Минут десять он все никак не мог решиться пересечь улицу; потом сердце его стало биться спокойнее, и он увидел Галерею и на обычном месте, в прохладной пыльной тени, странную восковую колдунью, и под пальцами у нее — людские судьбы. Проезжавшая машина бросила на Галерею сноп лучей, метнулись тени, и Дугласу показалось, что восковая кукла быстрым кивком позвала его.

И он повиновался, и через пять минут вышел оттуда, уверенный, что теперь-то уж с ним ничего

не может случиться. И, конечно, надо показать ее Тому.

— Она совсем как живая, — сказал Том.

— Она и есть живая. Вот смотри.

Он сунул в щель монетку.

Ничего не произошло.

Дуглас окликнул через всю Галерею ее владельца, мистера Мрака; тот сидел на ящике, в каких развозят бутылки с содовой, и, запрокинув голову, тянул из полупустой бутылки золотисто-коричневую жидкость.

— Эй! — закричал Дуглас. — С колдуньей что-то неладно!

Мистер Мрак подошел, шаркая ногами; глаза его были полузакрыты, он шумно, прерывисто дышал.

— И с тираном неладно, и с панорамой, и «Электрический стул за грош» тоже разладился, — пожаловался он и стукнул кулаком по стеклянному ящику.

— Эй ты! Давай работай! — Колдунья не шелохнулась.

— Мне один ремонт каждый месяц стоит больше, чем на ней выручишь.

Мистер Мрак сунул руку за ящик, вытащил объявление «Не работает» и повесил его прямо

на лицо гадалки.

— Что ж, не с одной с ней неладно. И со мной неладно, и с вами, и с городом неладно, и во всей стране, и во всем мире. К черту тебя! — Он погрозил колдунье кулаком. — На свалку тебя, слышишь? На свалку! На лом!

Тяжело волоча ноги, он побрел прочь, грузно опустился на свой ящик и принялся ощупывать монетки в кармане фартука, точно у него болел живот.

— Неужели она испортилась… Этого просто не может быть, — прошептал потрясенный Дуглас.

— Она уже старая, — сказал Том. — Дедушка говорит, она стояла тут, когда он был еще мальчишкой, и даже раньше. Надо же ей когда-нибудь окочуриться…

— Ну, пожалуйста, — молил Дуглас. — Пожалуйста, погадай еще один только разочек, пускай Том посмотрит!

Он потихоньку сунул в щель монетку.

— Пожалуйста!

Мальчики прижались к стеклу, от их дыханья оно затуманилось.

Где-то в самой глубине ящика зашуршало, зажужжало…

Колдунья медленно подняла голову, поглядела

на мальчиков так, что у них кровь застыла в жилах, и рука ее заметалась над картами, то вдруг повисая над одной из них, то вновь срываясь — вправо, влево. Вот она наклонила голову, одна рука дернулась и замерла, а другая судорожно задвигалась, чертя что-то на карте; она писала, останавливалась и вновь писала, а машину трясло, как в лихорадке. Наконец машина содрогнулась так, что задребезжал стеклянный ящик, и вторая рука тоже застыла. Колдунья низко опустила голову, неживые черты ее словно исказила странная горестная гримаса. Потом механизм точно ахнул, скользнуло какое-то колесико, и в подставленные ладони Дугласа скатилась крошечная гадальная карта.

— Она ожила! Она опять действует!

— Дуг, а что там, на карте?

— То же самое, что она написала мне в субботу. Слушай!

И Дуглас прочитал:

*Гоп-ля-ля! Тру-ля-ля!*
*Только дурак хочет умереть!*
*То ли дело плясать и петь!*
*Когда звучит погребальный звон,*
*Пой и пляши, дурные мысли — вон!*

*Пусть воет буря,*
*Дрожит земля,*
*Пляши и пой,*
*Тру-ля-ля, гоп-ля-ля!*

— И больше ничего? — спросил Том.

— Еще в конце есть: «Предсказание: долгая и веселая жизнь».

— Вот это уже похоже на дело! А мне она погадает? — И Том сунул в щель монетку. Колдунья содрогнулась. В ладони мальчика упала карта.

— Кто добежит последним, тот колдуньин хвост, — спокойно заявил Том.

Они вихрем помчались прочь — мистер Мрак только ахнул и стиснул в одном кулаке сорок пять медных монеток, в другом — тридцать шесть.

На улице при неверном свете фонаря они сделали ужасное открытие.

Карта была пуста.

— Этого не может быть!

— Да ты не волнуйся, Дуг. Ну, обыкновенная пустая карта, мы потеряли всего одно пенни — подумаешь, беда какая!

— Это вовсе не обыкновенная пустая карта, и мне не денег жалко, не в том дело: тут вопрос жизни и смерти.

Под дрожащими лучами фонаря Дуглас разглядывал карту, вертел ее и так и эдак, будто надеясь, что на ней появится хоть одно словечко; он был очень бледен.

— У нее кончились чернила.

— У нее никогда не кончаются чернила!

Дуглас посмотрел через окно на мистера Мрака — тот допивал свою бутылку и отчаянно ругался, даже не подозревая, какой он счастливый, что живет здесь, в этой Галерее. Только бы теперь Галерея тоже не развалилась, думал Дуглас. И без того в жизни все плохо — друзья исчезают, людей убивают и хоронят, так уж пусть хоть волшебная Галерея останется!.. Только бы она осталась как есть!

Теперь Дуглас понял, почему его так упорно тянуло сюда всю неделю и сегодня тоже. Здесь все прочно, незыблемо, установлено раз и навсегда, все заранее известно, ясно и непоколебимо, всегда неизменно сверкают серебряные щели автоматов, восковой герой неизменно поражает кинжалом ужасную гориллу, спасая совсем уж восковую героиню; стоит опустить в щелку пенни — и за маленьким окошком, под одинокой голой электрической лампочкой неизменно начинает разматываться узкая пленка, и начинается

погоня — отчаянно мчатся отчаянные бандиты, только чудом не попадая то под автомобиль, то под трамвай, то под поезд, вечно кидаются с волнолома в океан, но, конечно, не тонут, потому что опять и опять им надо мчаться навстречу автомобилю, трамваю, поезду, снова и снова нырять все с того же знакомого-перезнакомого волнолома. Вечные и неизменные замкнутые мирки, грошовые аттракционы, которые пускаешь в ход, чтобы повторились те же неизменные, привычные заклинания и обряды. Только пожелай — и песчаный ветер подхватит братьев Райт, и вот они парят на крыльях «Китти Хоук»; только пожелай — и Тедди Рузвельт выставит напоказ все свои зубы в ослепительной улыбке; отстраивается и горит, горит и отстраивается Сан-Франциско — до тех пор, пока в ненасытную глотку автоматов летят жаркие от потных ладоней медяки.

Дуглас огляделся — как знать, что тебя ждет в этом ночном городе, что может случиться через минуту? Днем ли, ночью ли, здесь слишком мало щелей, куда можно сунуть монетку, слишком мало попадает тебе в руки карт, по которым можно прочитать свою судьбу, и даже в тех, которые прочитаешь, почти никогда нет никакого смысла. Здесь, в мире людей, можно отдать время,

деньги, молитву — и ничего не получить взамен.

А там, в Галерее, можно подержать в руках молнию — на то есть электрическая машина «Попробуй вытерпи!»: если раздвинуть ее хромированные рукоятки, электрический ток ужалит как оса, обожжет и прошьет, точно иглой, твои содрогающиеся пальцы. А вот силомер: стукни кулаком по мешку с опилками изо всех сил — и сразу видишь, сколько сотен фунтов найдется у тебя в мускулах, чтобы ударить, если понадобится, по всему миру. Или еще — стисни руку робота и попробуй — кто кого, чья рука скорей опустится; тогда зажгутся лампочки хотя бы посередине кривой черты, взлетающей на доске с цифрами, а если вспыхнет фейерверк на самом верху — значит, ты даже сильней робота.

Словом, в Галерее всегда знаешь, что получится из каждого твоего шага, чего ждать от каждого автомата. И уходишь оттуда успокоенный, как из какого-то вновь обретенного храма.

А теперь? Как же теперь?

Колдунья еще двигается, но молчит и, пожалуй, скоро совсем умрет в своем прозрачном гробу. Дуглас взглянул на мистера Мрака — тот дремал, словно бросая вызов всем мирам, даже своему собственному. Когда-нибудь все эти прекрасные

механизмы заржавеют, потому что некому за ними заботливо ухаживать; бандиты и сыщики раз и навсегда застынут на бегу, наполовину погрузившись в озеро или наполовину увернувшись от колес паровоза, братья Райт так и не поднимут в воздух свой летательный аппарат…

— Том, — сказал Дуглас, — надо посидеть в библиотеке и все как следует обдумать.

Они пошли по улице, опять и опять передавая друг другу белую пустую карту.

Они посидели в библиотеке, в притененном свете ламп под зелеными абажурами; потом вышли, уселись верхом на каменного льва и долго сидели, хмурясь и болтая ногами.

— Старик Мрак только и делает, что кричит на нее да грозится убить.

— Как же ее убить, Дуг? Она ж никогда и не была живая.

— Он-то с ней обращается так, будто она живая или когда-то была живая. Орет на нее, вот ей и надоело. Или, может, не совсем надоело, а просто она подает нам тайный знак, что ее жизнь в опасности. Может, тут невидимые чернила или лимонный сок! Наверняка тут что-то написано, только она не хотела, чтобы мистер Мрак увидал — вдруг бы он вздумал посмотреть, пока мы еще

не ушли? Постой-ка! У меня есть спички!

— С чего бы это она стала нам писать, Дуг?

— Держи карту! Ну-ка…

Дуглас чиркнул спичкой и быстро провел ею под картой.

— Ой! Не жги мне пальцы, Дуг, на них-то ничего не написано!

— Вот видишь! — с торжеством закричал Дуглас. И в самом деле, на белом квадратике проступили тонкие, чуть заметные линии, как будто невероятно перепутанные письмена… слово, два, три…

— Она горит! — взвыл Том и уронил карту.

— Наступи ногой!

Но пока они вскочили и начали топтать каменную спину старого льва, карта успела превратиться в горстку пепла.

— Дуг! Теперь мы никогда не узнаем, что там было! Дуглас задумчиво глядел на свою ладонь, на теплые черные хлопья.

— Нет, я видел. Я помню все слова.

Пепел с еле слышным шелестом разлетелся с его руки.

— Помнишь, мы весной видели в кино комедию про Быстроногого Чарли? Там тонул француз и все время кричал одно слово по-французски, а Чарли

никак не мог его понять: «Secours! Secours!»[6]. А потом кто-то сказал Чарли, что это значит, и он прыгнул в воду и спас француза. Ну вот, я своими глазами видел на карте это слово — «Secours!».

— Зачем же ей писать по-французски?

— Чтобы мистер Мрак не понял, дурень!

— Дуг, это был просто водяной знак, он только стал виднее, когда карта нагрелась… — Тут Том увидел лицо Дугласа и запнулся. — Ладно, не злись. Там было что-то вроде «секу», верно. Но ведь были и другие слова…

— Там еще стояло… «Мадам Таро». Том, я все понял! Когда-то, очень давно, и правда жила такая мадам Таро, она была гадалка-предсказательница. Я один раз видел ее портрет в энциклопедии. К ней со всей Европы съезжались люди, и она предсказывала им судьбу. Том, ну неужели ты еще ничего не понял? Ты думай, думай хорошенько!

Том снова оседлал льва и поглядел вдоль улицы туда, где мерцали огни Галереи.

— Что ж, по-твоему, это и есть самая настоящая мадам Таро?

— Ну ясно! Снаружи стеклянный ящик, а в нем пропасть красного и голубого шелка, а там

---

**[6] Примечания: 6**
Спасите, на помощь! (фр.)

— воск, уж такой-то старый, наполовину растопился, а внутри — она! Может, ее когда-то кто-то приревновал или возненавидел, вот и залил ее всю воском и навсегда засадил в этот ящик, и она сотни лет переходила от одного злодея к другому и наконец очутилась здесь, у нас, в Гринтауне, штат Иллинойс, и чем бы гадать королям всей Европы, работает теперь тут за медные гроши!

— А разве мистер Мрак — злодей?

— Конечно! Имя — Мрак, рубашка черная, штаны черные и галстук черный. В кино злодеи всегда одеты во все черное, разве нет?

— Но почему же она не звала на помощь в прошлом году или в позапрошлом?

— Почем ты знаешь? Может, она уже сто лет каждый вечер пишет на картах лимонным соком, а все читают только то, что написано чернилами, и никто не додумался, как мы, подогреть карту и поглядеть, что там написано на самом деле. Хорошо, что я вспомнил это самое «Secours».

— Ну ладно, она просит помощи. А дальше что?

— Ясно, мы ее спасем.

— Украдем прямо из-под носа у мистера Мрака, да? А потом он нас засадит в стеклянные ящики вместо колдуньи, зальет лицо воском, и будем

мы там сидеть десять тысяч лет?

— Том, вот она, библиотека. Давай вооружимся чарами и магическими зельями и одолеем мистера Мрака.

— Мистера Мрака может одолеть одно-единственное зелье на свете, — сказал Том. — Каждый вечер, как только у него наберется достаточно монеток, он… постой-ка. — Том вытащил из кармана несколько монеток. — Ага, этого, наверно, хватит. Дуг, ты иди, читай книги. А я побегу обратно и пятнадцать раз погляжу «Бандитов и Сыщиков» — это мне никогда не надоедает. А потом приходи, встретимся у Галереи, тогда зелье уже наверняка будет работать на нас.

— Том, а ты понимаешь, чем это пахнет?

— А ты хочешь выручить эту принцессу или нет? — Дуглас круто повернулся и побежал во весь дух. Том подождал, пока двери библиотеки не захлопнулись за братом. Потом перепрыгнул через льва и канул в ночь. Ветер сдунул со ступеней библиотеки пепел колдуньиной карты.

В Галерее было темно: лабиринты «китайского бильярда» лежали смутные и загадочные, словно кто-то чертил палкой в пыли на полу пещеры великана. В окошках панорамы игриво усмехался Тедди Рузвельт, а братья Райт запускали

деревянный пропеллер. Колдунья сидела в своем ящике, ее восковые глаза были совсем тусклые. И вдруг один глаз блеснул. Луч карманного фонарика пробился снаружи сквозь запыленные окна. Грузная фигура, пошатываясь, прислонилась к запертой двери, в замке заскрипел ключ. Дверь с грохотом распахнулась да так и осталась открытой. Донеслось тяжелое дыханье.

— Это я, старушка, — сказал, покачиваясь, мистер Мрак.

В это время к Галерее, уткнувшись в книгу, подошел Дуглас, огляделся и увидел Тома, который притаился в соседнем подъезде.

— Тс-с! — шепнул Том. — Все прошло как по маслу. Я пятнадцать раз подряд запустил «Бандитов и Сыщиков». Мистер Мрак как услыхал, что я накидал в машину пятнадцать монет, прямо глаза вытаращил, в два счета открыл автомат, вытащил все деньги, выгнал меня вон и скорей пошел в забегаловку через дорогу за магическим зельем.

Дуглас подкрался к окну и заглянул внутрь; в темноте смутно виднелись две гориллы — одна застыла неподвижно с восковой красавицей на руках, другая стояла посреди комнаты и слегка покачивалась.

— Ух, Том, ты просто гений! — прошептал Дуглас. — Он совсем упился этим своим зельем.

— Вот то-то и оно. А ты что-нибудь узнал? — Дуглас похлопал ладонью по книге и сказал вполголоса:

— Я правильно говорил, эта мадам Таро предсказывала судьбу, смерть и еще всякую всячину разным богачам, но она сделала одну ошибку: предсказала Наполеону поражение и смерть прямо ему в глаза! Ну и конечно…

Он умолк и снова поглядел через пыльное стекло на неясную фигуру, что спокойно сидела в своем стеклянном ящике.

— «Secours», — пробормотал Дуглас. — Ясно, Наполеон вспомнил про музей мадам Тюссо и велел мастерам бросить колдунью Таро живьем в кипящий воск… и вот теперь… вот она и…

— Смотри, смотри, Дуг! Что это затеял мистер Мрак? У него там какая-то дубинка или палка, что ли…

И в самом деле, грузная фигура мистера Мрака угрожающе качнулась к ящику. С отвратительной руганью он замахал перед самым носом колдуньи огромным ножом.

— Он прицепился к ней потому, что во всем этом окаянном сборище только она одна и похо-

жа на человека, — сказал Том. — Он не сделает ей ничего плохого. Сейчас свалится на пол и захрапит.

— Ну уж нет, — сказал Дуглас. — Он знает, что она нас предупредила и мы придем ей на выручку. Он боится, как бы мы не раскрыли его преступную тайну… может, он задумал сегодня же уничтожить ее раз и навсегда?

— Откуда ему знать, что она нас предупредила? Мы и сами этого не знали, пока не ушли отсюда.

— Он бросал монетки в машину и заставил ее сознаться, ведь на этих картах с черепами и костями она соврать не может. Она поневоле говорит правду, вот она и выдала ему карту, на которой изображены два рыцаря — маленькие, вроде мальчишек, понимаешь? Это и есть мы, с дубинками в руках, идем по улице прямо сюда.

— Бросаю монету в последний раз! — донесся, словно из пещеры дикаря, вопль мистера Мрака. — В последний раз, черт бы тебя побрал, я требую: говори! Заработаю я хоть что-нибудь на этой распроклятой Галерее или мне сразу объявить себя банкротом? Все вы, бабы, такие: сидит тут, холодная как рыба, а человек помирает с голоду! Ну, давай карту! Так. Сейчас поглядим.

И он поднес карту к свету.

— Ух ты, что сейчас будет! — шепнул Дуглас. — Ну, приготовиться!

— Нет! — завопил мистер Мрак. — Лгунья, лгунья! Вот тебе!

И грохнул кулаком по ящику. Взметнулся фонтан стеклянных брызг, точно тысячи звезд сверкнули и угасли в темноте. Колдунья сидела теперь беззащитная и спокойно, с достоинством ждала следующего удара.

— Нет! — Дуглас ворвался в Галерею. — Мистер Мрак!

— Дуг! — закричал Том.

Мистер Мрак круто обернулся. Наобум занес нож. Дуглас оцепенел. Но мистер Мрак только мигнул, вытаращил глаза, повернулся вокруг собственной оси и медленно повалился на пол — он падал целую тысячу лет! Фонарик выпал из его правой руки, нож серебряной рыбкой выскользнул из левой.

Том с опаской вошел в полутемную Галерею и вгляделся в распростертое тело.

— Дуг, по-твоему, он умер?

— Нет, это его потрясло предсказание мадам Таро. Смотри: он какой-то прямо как ошпаренный. Наверно, на карте было написано что-то ужасное.

Мистер Мрак громко храпел на полу.

Дуглас подобрал разбросанные гадальные карты и дрожащими руками засунул их в карман.

— Том, давай унесем ее отсюда, пока не поздно.

— Да ты что, спятил? Это ж воровство!

— А ты хочешь, чтоб тебя обвинили в содействии и соучастии, а то и похуже? В убийстве, например?

— Тьфу ты! Как можно убить несчастную старую куклу?

Но Дуглас не слушал. Стеклянной преграды уже не было, он протянул руки, и восковая колдунья Таро с шорохом, подобным вздоху, медленно склонилась вперед и упала в его объятья, точно она ждала этой минуты долгие-долгие годы.

Часы на здании суда пробили без четверти десять. Луна поднялась уже высоко и наполняла все небо ярким, хоть и неприветливым, светом. По тротуару, словно отлитому из серебра, двигались черные тени. Дуглас шел один, медленно и осторожно, неся в руках куклу из бархата и воска; он поминутно отступал в сторону и прятался в скользящей тени деревьев. И прислушивался и оглядывался. Но вот легкий шорох, точно бегут мыши. Из-за угла пулей вылетел Том и мигом догнал брата.

— Дуг, я застрял потому, что боялся — вдруг он… ну, в общем… а потом он ожил и стал ругаться… Ох, Дуг, если он тебя поймает с этой куклой! Что подумают наши? Это же воровство!

— Тише ты!

Они прислушались, оглянулись: улица расстилалась позади, словно лунная река.

— Вот что, Том: ты можешь помочь мне спасти ее, но тогда не называй ее куклой, и не кричи так, и не тащись, точно куль с мукой.

— Ясно, я помогу! — Том тоже взялся за колдунью. — Ну и тяжесть!

— Она была совсем молоденькая, когда Наполеон… — Дуглас перебил себя: — Старые всегда тяжелые. Потому и видно, что они старые.

— А к чему все это, Дуг? Ты мне скажи, к чему мы из-за нее так хлопочем, а?

К чему? Дуглас растерянно заморгал и остановился. Все случилось так быстро, он зашел так далеко и так разволновался, что успел уже забыть, к чему все это и зачем. И только теперь, когда они уже снова шагали по тротуару и на веках у них трепетали тени, точно черные бабочки, а руки пропахли пыльным воском, он вдруг подумал — а правда, к чему?

Он медленно заговорил, и голос у него был чу-

жой и далекий, как этот неверный лунный свет.

— Знаешь, Том, совсем недавно, месяца полтора назад, я вдруг открыл, что я живой. Ну и плясал же я тогда! А потом, только на прошлой неделе, в кино, я открыл, что когда-нибудь непременно умру. Раньше я об этом вовсе не думал. И меня как-то ошарашило… будто мне вдруг сказали, что больше никогда не будет кино и пикников, или что школу закроют навсегда, а ведь она не такая уж плохая, хоть мы ее и ругаем, или все персиковые деревья вдруг завянут, или овраг засыплют и совсем негде будет играть, или я заболею и буду сто лет лежать в постели в темноте… и я здорово напугался. И теперь сам не знаю, что к чему. Но только я хочу помочь мадам Таро. Спрячу ее на несколько недель или месяцев, а пока поищу в библиотеке книжек по черной магии и узнаю, как ее расколдовать и вытащить из этого воска, и пускай себе опять живет на свете, она и так уж сколько времени потеряла даром. И, ясное дело, она будет очень благодарна, и разложит свои карты со всеми чертями и кубками, и саблями, и костями, и предскажет мне, которую яму надо обходить стороной и в какие четверги лучше оставаться в постели. И я буду жить вечно или вроде того.

— Ты же и сам в это не веришь.

— Нет, верю — почти во все. Осторожно, вот и овраг. Мы пройдем напрямик, через свалку, и…

Том остановился — Дуглас схватил его за руку. Не оборачиваясь, мальчики слушали грохот тяжелых шагов за спиной; каждый шаг вызывал громкое эхо, будто на дне пересохшего озера неподалеку палили из ружья. Кто-то выкрикивал ругательства.

— Том, ты навел его на след!

Они побежали, но огромная рука подхватила их и швырнула одного направо, другого налево. Они с криком покатились по траве, а рассвирепевший мистер Мрак бешено размахивал кулаками, скалил зубы и брызгал слюной. Он держал куклу за шиворот и за локоть и яростно сверкал глазами на мальчиков.

— Она моя! Что хочу, то и делаю! Какого черта вы ее стащили? От нее все мои несчастья — и денег нет, и дело прогорает, все летит к чертям. Сейчас я ей покажу!

— Не надо! — закричал Дуглас.

Но огромные железные ручищи вскинули хрупкое восковое тело так высоко, что оно заслонило луну, закружили, завертели его под звездами и наконец с проклятьями метнули, точно из вели-

канской рогатки, прямо в овраг. Оно просвистело в воздухе и рухнуло, следом полетели проклятья, лавиной посыпался мусор, взметнулось облако пыли и пепла.

Дуглас приподнялся, сел и поглядел вниз.

— Нет, — сказал он. — Нет!

Мистер Мрак качнулся на краю откоса, охнул и тоже чуть не полетел в овраг.

— Скажите спасибо, что я и вас туда же не отправил! — И он неуверенно побрел прочь, ноги у него заплетались, один раз он упал, но поднялся и все время что-то бормотал про себя, то хохотал, то бранился, пока не исчез из виду.

Дуглас долго сидел на краю оврага и плакал. Наконец высморкался. Поглядел на брата.

— Том, уже поздно. Папа будет всюду ходить и нас искать. Нам надо было вернуться час назад. Беги домой по Вашингтон-стрит, найди папу и приведи сюда.

— Ты что, может, в овраг за ней полезешь?

— Раз она валяется на помойке, она теперь ничья. И никому нет до нее дела, даже мистеру Мраку. Скажи папе, зачем я его зову и что ему вовсе незачем возвращаться с нами по городу, пускай его никто с ней не видит. Я понесу ее задворками, и никто ничего не узнает.

— Да ведь от нее теперь никакого толку, механика-то вся сломана.

— Как же ты не понимаешь, ведь не оставлю я ее здесь одну, под дождем.

— Ясное дело.

И Том медленно пошел прочь.

Дуглас стал спускаться в овраг, осторожно пробираясь между грудами золы, грязной бумаги и консервных банок. На полдороге он остановился и прислушался. Вгляделся в многоцветный сумрак, в провал, зияющий под ногами.

— Мадам Таро!

Ему почудилось, что далеко внизу в лунном свете шевельнулась восковая рука. Это на ветру затрепетал клочок бумаги. Но Дуглас все же двинулся к нему…

Городские часы пробили полночь. Почти всюду в домах погасли огни. В маленькой мастерской в гараже отец и двое сыновей отступили от колдуньи — она сидела теперь спокойно, совсем как прежде, в старом кресле-качалке, а перед нею на карточном столике, покрытом клеенкой, фантастическим веером раскинулись монахи и клоуны, кардиналы и скелеты, солнца и хвостатые звезды — гадальные карты, которых она чуть касалась восковой рукой.

Говорил отец:

— … все отлично понимаю. Бывало, еще мальчишкой, когда из нашего города уезжал цирк, я носился как сумасшедший и собирал миллионы афиш. Потом разводил кроликов, увлекался колдовством. Мастерил на чердаке всякие иллюзионы, а потом никак не мог их оттуда вытащить. — Он кивнул колдунье. — Помню, лет тридцать назад она и мне предсказала будущее. Ну ладно, теперь хорошенько почистите ее и идите спать. А в субботу мы для нее соорудим специальный ящик.

Отец пошел было к выходу из гаража, но Дуглас тихонько его окликнул:

— Пап. Спасибо тебе. Спасибо за обратную дорогу. В общем, спасибо.

— Вот еще, — сказал отец и вышел. Оставшись одни с колдуньей, братья поглядели друг на друга.

— Надо же, прямо по Главной улице так и прошагали все вчетвером — ты, я, папа и она! Другого такого отца на свете нет!

— Завтра пойду и откуплю у мистера Мрака все остальные автоматы, — сказал Дуглас. — Долларов за десять он их отдаст, все равно ведь выкидывать.

— Ясное дело. — Том поглядел на старуху в кресле-качалке. — Ух ты, сидит совсем как живая. Интересно, что у нее там внутри?

— Тонюсенькие косточки вроде птичьих. Все, что осталось от мадам Таро со времен Наполеона…

— И никакого механизма? Давай вспорем ее и посмотрим.

— Успеем.

— Когда же?

— Ну, года через два, когда мне будет уже четырнадцать, вот тогда и посмотрим. А пока я ничего не хочу знать, она здесь — и ладно. Завтра я примусь за дело и расколдую ее раз и навсегда. Когда-нибудь ты услышишь, что у нас в городе появилась неизвестная красавица итальянка в летнем платье, и все видели ее на вокзале, она купила билет в какую-то восточную страну и села в поезд, и все скажут, что в жизни не видали такой красоты, и все сразу про нее заговорят, и никто не будет знать, откуда она взялась и куда уехала… и когда ты про это услышишь, Том, вот тогда ты поймешь — это я нашел такие чары и расколдовал ее и освободил. И тогда, значит, года через два, в ту самую ночь, когда уйдет ее поезд, мы с тобой поглядим, что там под воском. А раз

ее уже здесь не будет, ясно, мы найдем внутри только мелкие винтики и колесики и всякие тряпки. Вот так.

Дуглас осторожно приподнял восковую руку и стал двигать ею над танцем жизни, над шалостями костлявой старухи смерти, над сроками, и судьбами, и сумасбродствами — рука чуть касалась их, постукивала по ним, шелестела потускневшими ногтями. Повинуясь каким-то скрытым законам равновесия, колдунья склонила лицо и поглядела прямо на мальчиков; немигающие глаза ее сверкнули в ярком свете голой, без колпака, лампы.

— Предсказать тебе судьбу, Том? — тихо спросил Дуглас.

— Давай.

Из широченного рукава колдуньи выпала карта.

— Том, ты видал? Одна еще оставалась, спрятанная — и, пожалуйста, она кидает ее нам! — Дуглас поднес карту к свету. — Ничего нет. Я положу ее на ночь в коробку со всякой химией. Завтра откроем, а там проступят буквы.

— И что же там будет написано?

Дуглас закрыл глаза, чтобы получше разглядеть слова.

— Там будет вот что: «Ваша покорная слуга и преданный друг мадам Флористан Марианн Таро, хиромантка, целительница душ и прорицательница, сердечно вас благодарит».

Том засмеялся и тряхнул брата за плечо.

— Ну-ка, ну-ка, а дальше?

— Сейчас… И еще там будет сказано:

*«Гоп-ля-ля! Тру-ля-ля!*
*Только дурак хочет умереть!*
*То ли дело плясать и петь!*
*Когда звучит погребальный звон,*
*Пой и пляши, дурные мысли — вон!»*

И еще: «Том и Дуглас Сполдинги, в вашей жизни сбудется все, чего вы только пожелаете». И еще там будет сказано, что мы с тобой будем жить вечно, Том, вечно. И никогда не умрем…

— И все это будет написано на одной карте?

— Все-все, до единого слова.

В свете яркой электрической лампочки они склонились над такой прекрасной и многообещающей, хоть пока и пустой, картой — двое мальчишек и колдунья, и горящие ребячьи глаза пронизывали ее и читали каждое непостижимо скрытое там слово, которое вот-вот, уже совсем скоро всплывет из своего тусклого небытия.

— Эй, ты, — чуть слышно сказал Том.

И Дуглас отозвался торжествующим шепотом:

— Эй, ты…

Под полуденными знойными деревьями негромкий голос тянул:

— … девять, десять, одиннадцать, двенадцать…

Дуглас медленно двинулся по лужайке на этот голос.

— Том, ты что считаешь?

— … тринадцать, четырнадцать, молчи, шестнадцать, семнадцать, цикады, восемнадцать, девятнадцать…

— Цикады?

— А, черт! — Том открыл глаза. — Черт, черт, черт!

— Смотри, кто-нибудь услышит, как ты ругаешься…

— Черт, черт, черт живет в аду! — крикнул Том. — Теперь придется начинать все сначала. Я считал, сколько раз прострекочут цикады за пятнадцать секунд. — Он поднял вверх свои дешевенькие часы. — Надо только заметить время, прибавить тридцать девять, и получится, сколько сейчас градусов жары. — Он глянул на часы, зажмурил один глаз, склонил голову набок и снова зашептал: — Раз, два, три…

Дуглас медленно повернул голову и прислушался. Где-то высоко в раскаленном белесом небе дрогнула и зазвенела медная проволока. Снова и снова, точно электрические разряды, падали ошеломляющими ударами с потрясенных деревьев пронзительные содрогания металла.

— Семь, — считал Том. — Восемь…

Дуглас поплелся на веранду. Блаженно жмурясь, заглянул в прихожую. Через минуту опять медленно вышел на веранду и вяло окликнул Тома.

— Сейчас ровно восемьдесят семь градусов по Фаренгейту… двадцать семь, двадцать восемь…

— Эй, Том, ты слышишь?

— Слышу, тридцать, тридцать один! Убирайся! Два, три, тридцать четыре…

— Хватит тебе считать, в доме на градуснике сейчас восемьдесят семь и еще лезет вверх, и не нужны тебе никакие кациды.

— Цикады! Тридцать девять, сорок. Не кациды! Сорок два!

— Восемьдесят семь градусов. Я думал, тебе будет интересно узнать.

— Сорок пять, это же в доме, а не на улице! Сорок девять, пятьдесят, пятьдесят один! Пятьдесят два, пятьдесят три!. Пятьдесят три плюс тридцать

девять будет… будет девяносто два градуса!

— Кто сказал?

— Я сказал! Не восемьдесят семь по Фаренгейту, а девяносто два по Сполдингу!

— Ты-то ты, а еще-то кто?

Том вскочил и поднял раскрасневшееся лицо к солнцу.

— Я и цикады, вот кто! Я и цикады! Нас больше! Девяносто два, девяносто два, девяносто два градуса по Сполдингу, вот тебе!

Оба стояли и глядели в безжалостное, без единого облачка небо — точно испорченный фотоаппарат, зияющий раскрытым во всю ширь объективом, оно глазело на недвижный, оглушенный зноем, умирающий в пламенных лучах город.

Дуглас закрыл глаза и увидел, как два дурацких солнца выплясывают на внутренней стороне розовых прозрачных век.

— Раз… два… три…

Дуглас почувствовал, как шевелятся его губы.

— … четыре… пять… шесть…

Теперь цикады стрекотали еще быстрее.

С полудня до заката, с полуночи до рассвета на улицах Гринтауна, штат Иллинойс, маячили лошадь с фургоном и возница, которых хорошо

знали все двадцать шесть тысяч триста сорок девять обитателей города.

Средь бела дня дети вдруг ни с того ни с сего останавливались среди какой-нибудь игры и говорили:

— А вот и мистер Джонас!

— А вот и Над!

— А вот и фургон!

Взрослые могли сколько угодно глядеть на север или на юг, на восток или на запад, они все равно не увидели бы ни мистера Джонаса, ни лошади по имени Над, ни фургона; это был большой крытый фургон на огромных колесах, такие фургоны когда-то бороздили прерии, пробираясь сквозь чащу к побережью.

Но если бы ухо у вас было чуткое, как у собаки, да если еще насторожить его и настроить на самые высокие и далекие звуки, вы бы услышали за много-много миль заунывное пение, точно молится старый раввин в земле обетованной или мулла на башне минарета. Голос мистера Джонаса летел далеко впереди его самого, люди успевали приготовиться к его появлению, у них оставалось для этого полчаса, а то и целый час. И к той минуте, когда его фургон показывался из-за угла или в конце улицы, вдоль тротуаров уже

выстраивались ребята, словно на парад.

И вот подъезжал фургон, на высоких его козлах под зонтиком цвета хурмы восседал мистер Джонас, и вожжи струились в его ласковых руках, словно ручеек. Он пел!

*— Хлам, барахло?*
*Нет, сэр, не хлам.*
*Хлам, барахло?*
*Нет, мэм, не хлам!*
*Спицы, булавки, иголки,*
*Тряпки, обломки, осколки,*
*Пустячки, побрякушки,*
*Вещички-старушки —*
*Все возьму в барахолку*
*Ради пользы и толку!*
*Ясно ли вам?*
*Это не хлам!*

Всякий, кто хоть раз слышал пение мистера Джонаса, а он всегда сочинял что-нибудь новенькое, — сразу понимал, что это не простой старьевщик. С виду-то его, правда, от обыкновенного старьевщика не отличить: рваные, в заплатах, плисовые штаны, побуревшие от времени, а на

голове — фетровая шляпа, украшенная пуговицами времен избрания первого президента. Но в одном он был старьевщик необыкновенный: его фургон можно было увидеть не только при солнечном свете, но и при свете луны — даже ночью он без устали кружил по улицам, точно по извилистым речкам, огибая островки-кварталы, где жили люди, которых он знал всю свою жизнь. И в фургоне полно было самых разных вещей; он подбирал их во всех концах города и возил с собой день, неделю, год, пока они кому-нибудь не понадобятся. Тогда стоило только сказать: «Эти часы мне пригодятся» или «Как насчет вон того матраца?» — и Джонас отдавал часы или матрац, не брал никаких денег и ехал дальше, сочиняя по дороге новую песню.

Вот так и получалось, что иной раз в три часа ночи он оказывался единственным бодрствующим человеком в Гринтауне; и если кто маялся головной болью, надо было только, завидев сверкающую в лунном свете лошадь с фургоном, выбежать на улицу и спросить, может, у мистера Джонса случайно найдется аспирин, — и аспирин всегда находился. Не раз он и роды принимал в четыре часа ночи, и тогда люди вдруг замечали, что у него поразительно чистые руки и ногти — ну

прямо руки богача, верно, он ведет, еще и вторую, неизвестную им жизнь! Порой он отвозил людей на работу в другой конец города, а иногда, если видел, что кто-нибудь страдает бессонницей, поднимался к нему на крыльцо, угощал сигарой и сидел и беседовал с ним до зари.

Да, мистер Джонас был человек странный, непонятный, ни на кого не похожий, он казался чудаком и даже помешанным, но на самом деле ум у него был ясный и здравый. Он сам не раз спокойно и мягко объяснял, что ему уже много лет назад надоели его дела в Чикаго и он решил подыскать себе какое-нибудь другое занятие. Церковь мистер Джонас терпеть не мог, хоть и одобрял ее идеи, зато сам любил проповедовать и делиться с людьми своими познаниями; потому он и купил лошадь с фургоном и теперь проводил остаток дней своих в заботах о том, чтобы одни люди могли получить то, в чем другие больше не нуждаются. Он считал себя неким воплощением диффузии, которая в пределах одного города помогает обмену между различными слоями общества. Он не выносил, когда что-нибудь пропадало зря, ибо знал: то, что для одного — ненужный хлам, для другого — недоступная роскошь.

Вот почему и взрослые, и особенно дети взбирались по откидной лесенке и с любопытством заглядывали в фургон, где громоздились всевозможные сокровища.

— Помните, — говорил мистер Джонас, — вы можете получить все, что вам нужно, если только это вам и вправду нужно. Спросите-ка себя, жаждете ли вы этого всеми силами души? Доживете ли до вечера, если не получите этой вещи? И если уверены, что не доживете, — хватайте ее и бегите. Что бы это ни было, я с радостью вам эту вещь отдам.

И дети рылись в сокровищах; были там и пергаментная бумага, и обрывки парчи, и куски обоев, и мраморные пепельницы, и жилетки, и роликовые коньки, и огромные, вспухшие от набивки кресла, и маленькие приставные столики, и стеклянные подвески к люстрам. Сперва в фургоне только перешептывались, чем-то бренчали и позвякивали. Мистер Джонас смотрел и слушал, неторопливо попыхивая трубкой, и дети знали, что он внимательно следит за ними. Порой кто-нибудь тянулся к шахматной доске, к нитке бус или к старому стулу и, едва коснувшись их рукой, поднимал голову и встречал спокойный, мягкий, пытливый взгляд мистера Джонаса. И рука от-

дергивалась, и поиски продолжались. А потом рука находила что-то единственное, желанное и уже не двигалась с места. Голова поднималась, и лицо так сияло, что и мистер Джонас невольно расплывался в улыбке. Он на минуту заслонял глаза ладонью, словно отгораживаясь от этого сиянья. И тут ребята во все горло кричали ему: «Спасибо!», хватали ролики, фаянсовые плитки или зонтик и, соскочив наземь, бежали прочь.

И через минуту возвращались, неся ему что-нибудь взамен — куклу или игру, из которой выросли или которая уже надоела, что-нибудь, что уже выдохлось и не доставляет больше радости, как потерявшая вкус жевательная резинка: такую забаву пора передать куда-нибудь в другую часть города, там ее увидят в первый раз, и там она вновь оживет и кого-то порадует. Свои приношения ребята робко бросали на кучу невидимых теперь богатств — и фургон, покачиваясь, катил дальше, поблескивали большущие, как подсолнухи, колеса, и мистер Джонас уже опять пел:

— Хлам, барахло? Нет, сэр, не хлам! Нет, мэм, не хлам!

Наконец он исчезал из виду, и только собаки в тени под деревьями слышали заунывное пение и слабо виляли хвостами.

— … хлам…
Все тише и тише:
— … хлам…
Еле слышно:
— … хлам…
Все стихло.
И собаки спят…

Всю ночь по тротуарам носились пыльные призраки; их поднимали пышущие жаром ветры, и гоняли, и кружили, а потом осторожно укладывали на разогретые душистые лужайки. От шагов запоздалых прохожих вздрагивали ветки деревьев, и с них обрушивались лавины пыли. Будто с полуночи пробуждался где-то за городом вулкан и извергал раскаленный пепел, который осыпал все вокруг, толстым слоем покрывал недремлющих ночных сторожей и собак, что совсем извелись от жары. В три часа, перед самым рассветом, в каждом доме словно занимался пожар — начинали тлеть желтым светом чердачные окошки.

Да, на заре все предметы и самые стихии преображались. Воздушные струи, точно горячие ключи, неслышно текли в неизвестность. Озеро недвижным жарким облаком нависало над долинами, населенными рыбой и песком, и жгло

их своим равнодушным дыханьем. Гудрон на улицах плавился в патоку, кирпич становился медным и золотым, а черепица на крышах — бронзовой. Провода высокого напряжения — навек плененные молнии — угрожающе сверкали над бессонными домами.

Цикады трещали все громче.

Солнце не просто взошло, оно нахлынуло как поток и переполнило весь мир.

У себя в комнате, в постели, Дуглас таял и плавился, лицо его было все в поту.

— Уф, — сказал Том, входя в комнату. — Пошли, Дуг, в такой день только и сидеть в речке и не вылезать.

Дуглас тяжело дышал. Пот струился у него по шее.

— Дуг, ты что, спишь?

Чуть заметное движение головы.

— Ты, может, захворал? Да уж, этот дом сегодня прямо горит огнем. — Том приложил ладонь ко лбу брата. Это было все равно что тронуть заслонку пылающей печки. Он испуганно отдернул руку. Повернулся и сбежал вниз по лестнице.

— Мам, — сказал он. — Дуг, кажется, зодорово заболел. — Мать в эту минуту вынимала яйца из холодильника; она замерла, и на лице у нее

мелькнула тревога; сунув яйца обратно, она пошла за Томом наверх.

Дуглас за все это время не шелохнулся.

Цикады трещали изо всех сил, от этого треска звенело в ушах.

В полдень у веранды остановилась машина доктора; он примчался так быстро, будто солнце гналось за ним по пятам, готовое обрушиться на него всей своей тяжестью. Глаза у доктора были усталые; тяжело дыша, он отдал свой саквояж Тому.

В час дня доктор, качая головой, вышел из дому. Том с матерью остались за дверью, а доктор, обернувшись, опять и опять повторял им негромко через москитную сетку, что он не знает, право, не знает... Потом надел панаму, поглядел, как лучи солнца терзают и жгут листву деревьев, чуть помедлил, точно готовясь кинуться в первый круг ада, и побежал к своей машине. Из выхлопного отверстия вырвалось облако сизого дыма и еще добрых пять минут дрожало в воздухе, когда он уехал.

Том взял в кухне ломик, разбил на маленькие кусочки целый фунт льда и отнес наверх. Мать сидела на краю кровати, в комнате слышно было только прерывистое дыханье Дугласа — он

вдыхал пар и выдыхал огонь. Лед завернули в носовые платки и положили Дугласу на лоб и вдоль тела. Задернули занавески, и комната сразу стала похожа на пещеру. Том с матерью сидели возле Дугласа до двух часов и все время приносили ему свежий лед. Потом опять пощупали его лоб — он был горячий, как лампа, которая горела всю ночь напролет. Тронешь — и невольно глядишь себе на пальцы: кажется, будто сжег их до самой кости.

Мать открыла было рот, хотела что-то сказать, но тут цикады затрещали так громко, что с потолка стала сыпаться известка.

Окутанный непроглядным багровым сумраком, Дуглас лежал и слушал, как глухо ухает его сердце и как медленно, толчками движется густая кровь в руках и ногах.

Губы тяжелые, неповоротливые. И мысли тоже тяжелые и медлительные, падают неторопливо и редко одна за другой, точно песчинки в разленившихся песочных часах. Кап…

По блестящему стальному полукругу рельсов из-за поворота вылетел трамвай, вскинулась и опала радуга шипящих искр, назойливый звонок звякал десять тысяч раз кряду и совсем смешался со стрекотом цикад. Мистер Тридден помахал рукой. Трамвай затрещал, как пулемет, умчался

за угол и исчез. Мистер Тридден… Кап. Упала песчинка. Кап…

— Чух-чух-чух! Ду-у-у-у!

Высоко на крыше мальчишка изображал паровоз, дергал невидимую веревку гудка и вдруг замер, превратился в статую. «Джон Хаф! Эй ты, Джон Хаф! Я тебя ненавижу! Джон, ведь мы друзья. Нет, не ненавижу, нет!»

Джон падает в бесконечную вязовую аллею, как в бездонный летний колодец, и становится все меньше, меньше.

Кап. Джон Хаф. Кап. Падает песчинка. Кап. Джон…

Дуглас повернул голову — как болит затылок, как больно расплющивается о белую, белую, мучительно белую подушку.

Мимо проплывают в своей Зеленой машине две старушки, лает черный тюлень, и старушки поднимают руки — белые руки, точно голуби. И погружаются в омут лужайки, и травы смыкаются над ними, а белые перчатки все машут, машут…

Мисс Ферн! Мисс Роберта!

Кап… Кап…

И вдруг в доме напротив из окна высунулся полковник Фрилей, а вместо лица у него часы, по улице вихрем — пыль из-под копыт буйволов.

Полковник Фрилей качнулся вперед, быстро-быстро забормотал, челюсть у него отвалилась — и вместо языка изо рта выскочила часовая пружина и задрожала в воздухе. Он рухнул на подоконник, как марионетка, а одна рука все машет, машет…

Проехал мистер Ауфман в какой-то непонятной блестящей машине, похожей сразу и на трамвай, и на Зеленый автомобильчик; за ней тянется пышный хвост дыма, а смотреть на нее — глаза болят, слепит, как солнце. «Мистер Ауфман, значит, вы ее все-таки изобрели? — кричит Дуглас. — Значит, вы наконец построили Машину счастья?»

И тут он увидел, что у машины нет дна. Мистер Ауфман попросту бежит по улице и тащит всю эту неправдоподобную громадину на своих плечах.

— Счастье, Дуг, вот оно, счастье!

И он исчез, как исчезли трамвай, Джон Хаф и старушки, у которых руки точно белые голуби.

Наверху, на крыше, легкий частый стук. Тук-тук… тук! Тишина. Тук-тук… тук! Гвоздь и молоток. Молоток и гвоздь. Птичий хор. И старушечий, дрожащий, но бодрый голос весело поет:

*Соберемся у реки… у реки… у реки…*

*Соберемся у реки…*
*Что струится у подножия*
*Трона божия…*

— Бабушка! Прабабушка! Кап — тихонько, — кап. Кап — тихонько, — кап.

… У реки… у реки…

А теперь только птицы чуть постукивают по крыше крохотными лапками. Тук-тук. Скрип. Тук. Тук. Тихонько. Тихонько.

… у реки…

Дуглас глубоко вздохнул, тотчас шумно выдохнул и заплакал в голос.

Он не слышал, как в комнату вбежала мать.

На его бесчувственную руку, точно горячий пепел сигареты, упала муха, зажужжала обжегшись и улетела.

Четыре часа дня. На мостовой — дохлые мухи. В конурах комьями влажной шерсти — взмокшие собаки. Под деревьями жмутся короткие тени. Магазины в городе закрылись, двери заперты. Берег озера опустел. Тысячи людей забрались по горло в воду — хоть она и теплая, а все-таки легче.

Четверть пятого. По мощеным улицам движется фургон старьевщика, мистер Джонас сидит на

козлах и поет.

У Тома нет больше сил глядеть на воспаленное лицо брата, он вышел на улицу и побрел было в сторону клуба — и тут рядом с ним остановился фургон.

— Здравствуйте, мистер Джонас.

— Здравствуй, Том.

Они были только вдвоем на пустой улице, можно было всласть полюбоваться сокровищами, сваленными в фургоне, но ни тот, ни другой на них не глядел. Мистер Джонас заговорил не сразу. Он зажег трубку, и попыхивал ею, и качал головой, будто наперед знал, что случилось неладное.

— Ну что, Том? — спросил он.

— С Дугом плохо, — сказал Том. — С моим братом... — Мистер Джонас поднял голову и посмотрел на дом Сполдингов.

— Он заболел, — сказал Том. — Он умирает!

— Ну-ну, не может этого быть, — сказал мистер Джонас и хмуро огляделся: вокруг был спокойный, надежный мир, и ничто в этот тихий день не напоминало о смерти.

— Он умирает, — повторил Том. — И доктор никак не поймет, что с ним. Говорит, это все жара виновата. Может так быть, мистер Джонас?

Неужели жара может убить человека, даже не на улице, а в темной комнате?

— Ну… — начал было мистер Джонас и прикусил язык. Потому что Том заплакал.

— Я всегда думал — я его ненавижу… я думал… мы ведь всегда деремся… Наверно, я и правда его ненавидел… иногда… а теперь… теперь… ох, мистер Джонас, если б только…

— Что, мальчик?

— Если б только у вас в фургоне нашлось что-нибудь для Дуга! Ну что-нибудь такое, чтобы отнести ему — и он поправится…

Том опять заплакал.

Мистер Джонас вытащил красный носовой платок и протянул Тому. Том высморкался и утер глаза.

— Дугу нынче летом уж очень не везет, — сказал он. — Прямо все шишки на него валятся.

— Расскажи-ка толком, — попросил старьевщик.

— Ну… во-первых, — Том всхлипнул и перевел дух, он еще не совсем совладал со слезами, — он лишился своего лучшего друга, это и правда был настоящий парень. И сейчас же кто-то стащил его вратарскую бейсбольную перчатку, а она очень дорогая — доллар девяносто пять! Потом

он еще свалял дурака — сменялся с Чарли Вудменом, отдал свою коллекцию ракушек и морских камешков за глиняную статую Тарзана — ну, знаете, какую дают в магазине, если принести им много-много крышек от ящиков из-под макарон. А Дуглас на другой же день уронил этого Тарзана на тротуар и разбил.

— Ай-я-яй, — сказал старьевщик, живо представив себе осколки на асфальте.

— И еще он очень хотел на рожденье книгу волшебных фокусов, а ему взяли и подарили штаны да рубашку. Ну, и понятно, лето вышло пропащее.

— Родители иногда забывают, как они сами были детьми, — сказал старьевщик.

— Ну ясно, — сказал Том и продолжал, понизив голос: — А потом он забыл во дворе одну штуку — самые настоящие кандалы из Тауэра, и они там провалялись всю ночь и совсем заржавели. А главное — я вырос на целый дюйм и почти его догнал, вот это ему обиднее всего.

— Это все? — спросил старьевщик.

— Да нет, надо только вспомнить, было еще сто разных бед вроде этих и даже еще похуже. Выдастся же такое лето — не везет человеку, да и только. То муравьи источили ему несколько

комиксов, то новые теннисные туфли вмиг заплесневели.

— Я помню, у меня тоже бывали такие годы, — сказал старьевщик.

Он поглядел на далекое небо и увидел там все эти годы.

— Ну вот, мистер Джонас. В этом все дело. Поэтому он и умирает…

Том замолчал и отвернулся.

— Дай-ка мне подумать, — сказал мистер Джонас.

— Вы поможете, мистер Джонас? Неужели вы сумеете? — Мистер Джонас заглянул в недра своего фургона и покачал головой. Теперь, в ярком свете дня, лицо у него было усталое, на лбу выступили капельки пота. Он всматривался в груды ваз, облупленных абажуров, мраморных нимф, позеленевших бронзовых сатиров. Вздохнул. Повернулся, подобрал вожжи и легонько их встряхнул.

— Том, — сказал он, глядя в спину лошади. — Мы еще сегодня увидимся. Мне нужно кое-что сообразить. Я немного осмотрюсь и приеду опять после ужина. Но и тогда… трудно сказать. А покуда…

Он перегнулся и вытащил из фургона несколь-

ко нитей японских хрустальных подвесков.

— Повесь их у брата на окне. Они очень славно звенят на ветру, совсем как льдинки.

Том стоял с японскими хрусталиками в руках, пока фургон не скрылся из виду. Потом поднял их и подержал на весу, но ветра не было, и они не шевельнулись. Они никак не могли зазвенеть.

Семь часов. Город кажется огромной печью, с запада на него опять и опять накатываются волны зноя, от каждого дома, от каждого дерева, вздрагивая, тянется тень — черная, точно нарисованная углем. Внизу по улице идет человек с ярко-рыжими волосами. Они вспыхивают в лучах заходящего, но все еще жгучего солнца, и Тому чудится: гордо шествует огненный факел, торжественно выступает огненная лиса, сам дьявол обходит свои владения.

В половине восьмого миссис Сполдинг вышла на заднее крыльцо, чтобы выкинуть на помойку арбузные корки, и увидела во дворе мистера Джонаса.

— Как Дуглас? — спросил он.

Губы миссис Сполдинг задрожали, она не решалась отвечать.

— Позвольте мне его повидать, — попросил старьевщик.

Она все не могла вымолвить ни слова.

— Мы с ним старые знакомые, — сказал мистер Джонас. — Виделись чуть ли не каждый день с тех пор, как он научился ходить и стал бегать по улицам. У меня кое-что для него припасено.

— Он… — она хотела сказать «без сознания», но вместо этого сказала: — Он еще не проснулся, мистер Джонас. Доктор не велел его тревожить. Ох, мистер Джонас, мы просто не знаем, что это с ним!

— Даже если он еще не проснулся, — сказал мистер Джонас, — мне хотелось бы с ним поговорить. Иной раз слова, которые услышишь во сне, бывают еще важнее, к ним лучше прислушиваешься, они глубже проникают в самую душу.

— Извините, мистер Джонас, я просто не могу рисковать. — Миссис Сполдинг ухватилась за ручку двери, но и не подумала ее открыть. — Но все равно спасибо вам. Спасибо, что пришли.

— Воля ваша, мэм, — сказал мистер Джонас. Он не двинулся с места. Стоял и смотрел вверх, на окно Дугласа. Миссис Сполдинг вошла в дом и закрыла за собой дверь.

Наверху в своей постели тяжело дышал Дуглас. Если прислушаться, казалось: кто-то выхватывает и снова вставляет в ножны острый нож.

В восемь часов пришел доктор и, уходя, опять качал головой; он был без пиджака, галстук развязан, и можно было подумать, что он за один этот день похудел на тридцать фунтов. В девять часов Том с матерью и отцом вынесли в сад под яблоню раскладушку и уложили на нее Дугласа: уж если подует ветерок, тут его почувствуешь скорее, чем в душных комнатах. До одиннадцати они то и дело выходили в сад к Дугласу, потом завели будильник на три — пора будет наколоть и сменить лед — и наконец легли спать.

В доме стало темно и тихо, все уснули. В тридцать пять минут первого веки Дугласа затрепетали.

Всходила луна.

И где-то далеко послышалось пение.

Печальный высокий голос то взмывал вверх, то замирал. Чистый, мелодичный. Слов было не разобрать.

Луна поднялась над краем озера и поглядела на Гринтаун, штат Иллинойс, и увидела его весь, и весь его осветила — каждый дом, каждое дерево, каждую собаку: собаки спали и часто вздрагивали — в нехитрых снах им виделись доисторические времена.

И казалось, чем выше поднималась луна, тем

ближе, громче, звонче пел тот голос.

Дуглас беспокойно заворочался и вздохнул.

Было это, пожалуй, за час до того, как луна затопила потоком света весь мир, а быть может, и раньше. Но голос все приближался, и вместе с ним слышалось словно биение сердца — это цокали лошадиные копыта по камням мостовой, и жаркая густая листва деревьев приглушала их стук.

И еще изредка что-то поскрипывало, постанывало, будто медленно открывалась и закрывалась дверь. Это двигался фургон.

И вот на улице в ярком свете луны появилась лошадь, впряженная в фургон, а на высоких козлах сидел мистер Джонас, и его худое тело мерно покачивалось в такт движению. На голове у него была шляпа, как будто все еще палило солнце; изредка он перебирал вожжи, и они колыхались над спиной лошади, как речные струи. Медленно, очень медленно фургон плыл по улице, и мистер Джонас пел, и Дуглас во сне словно затаил на миг дыхание и прислушался.

— Воздух, воздух… А вот кому воздуха?.. Прохладный, отрадный, как ручей течет, холодит, как лед… Купишь разок — запросишь в другой… Есть и весенний, есть и осенний, из дальних краев,

с Антильских островов… ясный и синий, пахнет дыней… Воздух, воздух, свежий, соленый… чистый, душистый… в бутылке с колпачком, надушен чабрецом… Всякому на долю, и всласть и вволю, сколько хочешь вдохнешь — и всего-то за грош!

Потом фургон оказался у обочины тротуара. И вот во дворе стоит человек, под ногами у него черная тень, в руках зеленоватым огнем поблескивают две бутылки, будто кошачьи глаза во тьме. Мистер Джонас поглядел на раскладушку и тихонько позвал Дугласа по имени — раз, другой, третий. Помедлил в раздумье, поглядел на свои бутылки, решился и неслышно подкрался к яблоне; тут он уселся на траву и внимательно посмотрел на мальчика, сраженного непомерной тяжестью лета.

— Дуг, — сказал старьевщик, — ты знай себе лежи спокойно. Ничего не надо говорить, и глаза открывать не надо. И не старайся показать, что ты меня слышишь. Я все равно знаю, что слышишь: это старик Джонас, твой друг. Твой друг, — повторил он и кивнул.

Потом потянулся к ветке, сорвал яблоко, повертел его в руке, откусил кусок, прожевал и снова заговорил.

— Некоторые люди слишком рано начинают печалиться, — сказал он. — Кажется, и причины никакой нет, да они, видно, от роду такие. Уж очень все к сердцу принимают, и устают быстро, и слезы у них близко, и всякую беду помнят долго, вот и начинают печалиться с самых малых лет. Я-то знаю, я и сам такой.

Он откусил еще кусок яблока, пожевал.

— О чем, бишь, я? — задумчиво спросил он.

— Жаркая августовская ночь, ни ветерка, — ответил он себе. — Жара убийственная. Лето тянется и тянется, нет ему конца, и столько всего приключилось, верно? Чересчур много всего. И время к часу ночи, а ни ветерком, ни дождиком и не пахнет. И сейчас я встану и уйду. Но когда я уйду — запомни хорошенько, — у тебя на кровати останутся вот эти две бутылки. Вот я уйду, а ты еще немножко подожди, а потом не спеша открой глаза, сядь, возьми эти бутылки и все из них выпей. Только не ртом, нет, пить нужно носом. Вытащи пробку, наклони бутылку и втяни в себя поглубже все, что там есть, чтоб прошло прямо в голову. Но сперва, понятно, прочти, что на бутылке написано. Хотя постой, я сам тебе прочту.

Он поднял бутылку к свету.

— «ЗЕЛЕНЫЕ СУМЕРКИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ

ВИДЕТЬ ВО СНЕ ЧИСТЕЙШИЙ СЕВЕРНЫЙ ВОЗДУХ, — прочитал он. — Взяты из атмосферы снежной Арктики весной тысяча девятисотого года и смешаны с ветром, дувшим в долине верхнего Гудзона в апреле тысяча девятьсот десятого; содержат частицы пыли, которая сияла однажды на закате солнца в лугах вокруг Гринелла, штат Айова, когда от озера, от ручейка и родника поднялась прохлада, тоже заключенная в этой бутылке».

— Теперь прочтем то, что написано помельче, — сказал он и прищурился. — «Содержит также молекулы испарений ментола, лимона, плодов дынного дерева, арбуза и всех других, пахнущих водой, прохладных на вкус фруктов и деревьев, камфары, вечнозеленых кустарников и трав, и дыханье ветра, который веет от самой Миссисипи. Необычайно освежает и прохлаждает. Принимать в летние ночи, когда температура воздуха превышает девяносто градусов».

Мистер Джонас поднял к свету вторую бутылку.

— В этой то же самое, только я еще собрал сюда ветер с Аранских островов, и соленый ветер с Дублинского залива, и полоску густого тумана с побережья Исландии.

Он поставил обе бутылки на кровать.

— И последнее предписание. — Он наклонился над мальчиком и договорил совсем тихо: — Когда ты будешь это пить, помни: все это собрано для тебя другом. Разливка и закупорка Компании Джонас, Гринтаун, штат Иллинойс, август тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Хорошего тебе года, мальчик. Урожайного тебе года.

Через минуту по спине лошади мягко хлопнули вожжи и фургон покатил по улице в лунном свете.

Веки Дугласа затрепетали; медленно, медленно открылись глаза.

— Мама, — зашептал Том. — Папа! Проснитесь! Дуг поправляется! Я сейчас ходил на него посмотреть, и он… идем скорей! — Том выбежал из дома, отец и мать — за ним.

Дуглас спал. Том подошел первым и замахал рукой, подзывая родителей поближе, он весь расплылся в улыбке. Все трое наклонились над раскладушкой.

Выдох — затишье, выдох — затишье; они стояли и слушали.

Рот Дугласа был полуоткрыт, от его губ, от тонких ноздрей поднимался едва уловимый аромат прохладной ночи и прохладной воды,

прохладного белого снега и прохладного зеленого мха, прохладного лунного света, что лежит на серебристых камешках на дне спокойной реки, и прохладной чистой воды на дне маленького белокаменного колодца.

Будто они на миг склонились над фонтаном, и прохладная, пахнущая яблоневым цветом струя взметнулась ввысь и омыла их лица.

Еще долго они не могли шевельнуться.

На другое утро исчезли все гусеницы.

Еще накануне повсюду было полно крошечных черных и коричневых мохнатых комочков, которые усердно взбирались по вздрагивающим под их тяжестью былинкам и хлопотали на зеленых листках, — и вдруг все они исчезли. Замерли миллиарды неслышных шагов, беззвучный топоток гусениц, что неутомимо расхаживали по своему собственному миру. Том всегда уверял, что отлично слышит этот редкостный звук, и теперь с изумлением глядел на город, где нечего стало клюнуть ни одной голодной птице. И цикады тоже умолкли.

А потом в тишине что-то шумно вздохнуло, зашуршало, и все поняли, почему исчезли гусеницы и смолкли цикады.

Летний дождь.

Сначала — как легкое прикосновение. Потом сильнее, обильнее. Застучал по тротуарам и крышам, как по клавишам огромного рояля.

А наверху, снова у себя в комнате, в постели, Дуглас, прохладный как снег, повернул голову и открыл глаза, он увидел струящееся свежестью небо, и пальцы его медленно-медленно потянулись к желтому пятицентовому блокноту и желтому карандашу фирмы Тайкондерога…

Как всегда, когда кто-нибудь приезжает, поднялась суматоха. Где-то гремели фанфары. Где-то в комнатах набралось полным-полно жильцов и соседей, и все они пили чай. Приехала тетка по имени Роза, голос ее, поистине трубный глас, перекрывал все остальные, и казалось, она заполняет всю комнату, большая и жаркая, точно тепличная роза, недаром у нее такое имя. Но что сейчас Дугласу вся эта суматоха и голос тетки! Он только что пришел из своего флигеля, остановился за дверью кухни — и тут-то бабушка, извинившись, вышла из шумной, крикливой, как курятник, гостиной и углубилась в свои привычные владенья — пора было готовить ужин. Она увидела за москитной сеткой Дугласа, впустила его, поцеловала в лоб, отвела упавшую ему на глаза выцветшую прядь и вгляделась в лицо

— совсем ли прошел жар? Убедилась, что внук уже здоров, замурлыкала песенку и принялась за работу.

Дугласу часто хотелось спросить: «Бабушка, наверно, здесь и начинается мир?» Ясно, только в таком месте он и мог начаться. Конечно же, центр мироздания — кухня, ведь все остальное вращается вокруг нее; она-то и есть тот самый фундамент, на котором держится весь храм!

Он закрыл глаза, чтобы ничто не отвлекало, и глубоко втянул носом воздух. Его обдавало то жаром адского пламени, то внезапной метелью сахарной пудры; в этом удивительном климате царила бабушка, и взгляд ее глаз был загадочен, словно все сокровища Индии, а в корсаже прятались две крепкие, теплые курицы. Тысячерукая, точно индийская богиня, она что-то встряхивала, взбивала, смешивала, поливала жиром, разбивала, крошила, нарезала, чистила, завертывала, солила и помешивала.

Ослепленный, Дуглас ощупью добрался до двери столовой. Из гостиной донесся взрыв смеха и звон чайной посуды. Но он пошел дальше, в прохладную обитель многоцветных богатств, зеленых, как водоросли, оранжевых, как хурма, где ему сразу ударил в голову тягучий запах зреющих

в тиши сливочно-желтых бананов. Мошкара кружилась над бутылками уксуса и сердито шипела прямо Дугласу в уши.

Он открыл глаза. Хлеб лежал, точно летнее облако, и только ждал, чтобы его разрезали на теплые ломти; вокруг маленькими съедобными обручами разбросаны были жареные пирожки. У Дугласа потекли слюнки. За стеной дома росли тенистые сливовые деревья, и в жарком ветре у окна прохладной родниковой струей текли кленовые листья, а здесь, на полках, выстроились банки и на них — названия всевозможных пряностей.

Как же мне отблагодарить мистера Джонаса? — думал Дуглас. Как отблагодарить, чем отплатить за все, что он для меня сделал? Ничем, ну ничем за это не отплатишь. Нет этому цены. Как же быть? Как? Может, надо как-то отплатить кому-нибудь другому? Передать благодарность по кругу? Оглядеться по сторонам, найти человека, которому нужно помочь, и сделать для него что-нибудь хорошее. Наверно, только так и можно…

Кайенский перец, майоран, корица.

Названия потерянных сказочных городов, где взвились и умчались пряные бури.

Он подбросил вверх темные луковки, что при-

были сюда с какого-то неведомого континента: там они когда-то расплескались на молочном мраморе — игрушки детей со смуглыми руками цвета лакрицы.

Поглядел на кувшин с одной-единственной наклейкой — и вдруг вернулся к началу лета, к тому неповторимому дню, когда впервые заметил, что весь огромный мир вращается вокруг него, точно вокруг оси.

На наклейке стояло одно только слово: УСЛАДА.

А хорошо, что он решил жить!

Услада! Занятное название для мелко нарубленных маринованных овощей, так заманчиво уложенных в банку с белой крышкой! Тот, кто придумал такое название, уж, верно, был человек необыкновенный. Он, верно, без устали носился по всему свету и, наконец, собрал отовсюду все радости и запихнул их в эту банку, и большущими буквами вывел на ней это название, да еще и кричал во все горло: услада, услада! Ведь само это слово — будто катаешься на душистом лугу вместе с игривыми гнедыми жеребятами и у тебя полон рот сочной травы или погрузил голову в озеро, на самое дно, и через нее с шумом катятся волны. Услада!

Дуглас протянул руку. А вот это — ПРЯНОСТИ!

— Что бабушка готовит на ужин? — донесся из трезвого мира гостиной голос тети Розы.

— Этого никто никогда не знает, пока не сядем за стол, — ответил дедушка; он сегодня пришел с работы пораньше, чтобы огромному цветку не было скучно. — Ее стряпня всегда окутана тайной, можно только гадать, что это будет.

— Ну нет, я предпочитаю заранее знать, чем меня накормят! — вскричала тетя Роза и засмеялась. Стеклянные висюльки на люстре в столовой возмущенно зазвенели. Дуглас двинулся дальше, в сумеречную глубь кладовой. Пряности… вот отличное слово! А бетель? А базилик? А стручковый перец? А кэрри? Все это великолепные слова. Но Услада, да еще с большой буквы, — тут уж спору нет, лучше не придумаешь!

Бабушка приходила и уходила в облаке пара, приносила из кухни покрытые крышками блюда, а за столом все молча ждали. Никто не осмеливался поднять крышку и взглянуть на таящиеся под ней яства. Наконец бабушка тоже села, дедушка прочитал молитву, и серебряные крышки мигом взлетели в воздух, точно стая саранчи.

Когда все рты были битком набиты чудесами кулинарии, бабушка откинулась на своем стуле

и спросила:

— Ну как, нравится?

И перед всеми родичами, домочадцами и нахлебниками, и перед тетей Розой тоже встала неразрешимая задача, потому что зубы и языки их были заняты восхитительными трудами. Что делать: заговорить и нарушить очарование или дальше наслаждаться нектаром и амброзией? Казалось, они сейчас засмеются или заплачут, не в силах найти ответ. Казалось, начнись пожар или землетрясение, стрельба на улицах или резня во дворе, — все равно они не встанут из-за стола, недосягаемые для стихий и бедствий, подвластные лишь колдовским ароматам пищи богов, что сулит им бессмертие. Все злодеи казались невинными агнцами в эту минуту, посвященную нежнейшим травам, сладкому сельдерею, душистым кореньям. Взгляды торопливо обегали снежную равнину скатерти, на которой пестрело жаркое всех сортов и видов, какие-то неслыханные смеси тушеных бобов, солонины и кукурузы, тушеная рыба с овощами и разные рагу…

И тут тетя Роза собрала воедино свою неукротимую розовость, и здоровье, и силу, вздохнула поглубже, высоко подняла вилку с наколотой на нее загадкой и сказала чересчур громким

голосом:

— Да, конечно, это очень вкусно, но что же это все-таки за блюдо?

Лимонад перестал булькать в хрустальных фужерах, мелькавшие в воздухе вилки опустились рядом с тарелками.

Дуглас посмотрел на тетю Розу — так смотрит на охотника смертельно раненный олень. На всех лицах отразилось оскорбленное изумление. О чем тут спрашивать? Кушанья сами говорят за себя, в них заключена собственная философия, и они сами отвечают на все вопросы. Неужели мало того, что все твое существо поглощено этой упоительной минутой блаженного священнодействия?

— Кажется, никто не слышал моего вопроса? — сказала тетя Роза.

Наконец бабушка сдержанно проговорила:

— Я называю это блюдо Четверговым. Я всегда готовлю его по четвергам.

Это была неправда.

За все эти годы ни одно кушанье никогда не походило на другое. Откуда взялось, например, вот это блюдо? Не из зеленых ли морских глубин? А это, быть может, пуля достала в синеве летнего неба? Плавало оно или летало по воздуху, текла в

его жилах кровь или хлорофилл, бродило оно по земле или тянулось к солнцу, не сходя с места? Никто этого не знал. Никто и не спрашивал. Никого это не интересовало.

Разве что подойдет кто-нибудь, станет на пороге кухни, и заглядится, и заслушается — а там взметаются тучи сахарной пудры, что-то позвякивает, трещит, щелкает, будто работает взбесившаяся фабрика, а бабушка щурится и озирается кругом, и руки ее сами находят нужные банки и коробки.

Понимала ли она, что наделена особым талантом? Вряд ли. Когда ее спрашивали, как она стряпает, бабушка опускала глаза и глядела на свои руки — это они с каким-то непостижимым чутьем находили верный путь и то окунались в муку, то погружались в самое нутро громадной выпотрошенной индейки, словно пытаясь добраться до птичьей души. Серые глаза мигали за очками, которые покоробились за сорок лет от печного жара, замутились от перца и шалфея так, что, случалось, самые нежные, самые сочные свои бифштексы бабушка посыпала картофельной мукой! А бывало, что и абрикосы попадали в мясо, скрещивались и сочетались, казалось бы, несочетаемые фрукты, овощи, травы — бабушку

ничуть не заботило, так ли полагается готовить по кулинарным правилам и рецептам, лишь бы за столом у всех потекли слюнки и дух захватило от удовольствия. Словом, бабушкины руки, как прежде руки прабабушки, и для нее самой были загадкой, наслаждением, всей ее жизнью. Она поглядывала на них с удивлением, но не мешала им жить самостоятельно — ведь по-другому они не могли и не умели!

И вот впервые за долгие годы кто-то стал задавать дерзкие вопросы, разбираться и допытываться, как ученый в лаборатории, стал рассуждать там, где похвальнее всего молчать.

— Да, да, я понимаю, но все-таки, что именно вы положили в это Четверговое блюдо?

— Ну а что там есть, по-твоему? — уклончиво сказала бабушка.

Тетя Роза понюхала кусок на вилке.

— Говядина… или барашек? Имбирь… или это корица? Ветчинный соус? Черника? И, верно, немного печенья? Чеснок? Миндаль?

— Вот именно, — сказала бабушка. — Кто хочет добавки? Все?

Поднялся шум, зазвенели тарелки, замелькали руки, все громко заговорили, словно пытаясь навсегда заглушить эти святотатственные рас-

спросы, а Дуглас говорил громче всех и больше всех размахивал руками. Но по лицам сидевших за столом было видно, что их мир пошатнулся, радость и довольство висят на волоске. Ведь тут собрались самые избранные домочадцы, они всегда бросали все свои дела, будь то игра или работа, и мчались в столовую с первым же звуком обеденного гонга. Много лет они спешили сюда, как на праздник, торопливо развертывали белоснежные трепещущие салфетки, хватались за вилки и ножи, словно изголодались в одиночных камерах и только и ждали сигнала, чтобы, толкаясь и обгоняя друг друга, ринуться вниз и захватить место за обеденным столом. Сейчас они громко, тревожно переговаривались, вспоминали старые, избитые шутки и искоса поглядывали на тетю Розу, точно в ее необъятной груди притаилась бомба и часовой механизм отсчитывает секунды, приближая всех к роковому концу.

Тетя Роза почувствовала наконец, что и в молчании есть счастье, усердно занялась тем безымянным и загадочным, что лежало у нее на тарелке, уничтожила подряд три порции и отправилась к себе в комнату, чтобы распустить шнуровку.

— Бабушка, — сказала тетя Роза, когда снова

спустилась вниз. — Вы только поглядите, в каком виде у вас кухня! Признайтесь, тут ведь просто хаос! Повсюду бутылки, тарелки, коробки, все вперемешку, наклейки поотрывались, никаких надписей нет — откуда вы знаете, что кладете в еду? Меня просто совесть замучает, если я не помогу вам привести все это в порядок, пока я здесь. Сейчас, только засучу рукава.

— Нет, большое спасибо, не надо, — сказала бабушка. Дуглас, сидя за стеной, в библиотеке, слышал весь этот разговор, и сердце у него заколотилось.

— А жара, а духота какая! — продолжала тетя Роза. — Давайте хоть окно откроем и поднимем жалюзи, а то не видно, что делаешь.

— У меня глаза болят от света, — сказала бабушка.

— Вот и мочалка. Я перемою все тарелки и аккуратно их расставлю. Нет, я непременно вам помогу, и не спорьте.

— Прошу тебя, сядь, посиди, — сказала бабушка.

— Вы только подумайте, вам ведь сразу станет гораздо легче. Вы великая мастерица, это верно, вы ухитряетесь готовить так вкусно в таком диком хаосе, но поймите же — если каждая вещь

будет на своем месте и не придется ничего искать по всей кухне, вы сможете стряпать еще лучше!

— Я как-то никогда об этом не думала… — сказала бабушка.

— Так подумайте теперь. Допустим, современные кулинарные методы помогут вам готовить еще процентов на десять — пятнадцать лучше. Ваши мужчины уже и сейчас ведут себя за столом по-свински. Пройдет какая-нибудь неделя — и они станут дохнуть от обжорства, как мухи. Еда будет такой красивой и вкусной, что они просто не смогут остановиться!

— Ты и правда так думаешь? — с интересом спросила бабушка.

— Не сдавайся, не сдавайся! — зашептал в библиотеке Дуглас.

Но, к ужасу своему, он услышал, что за стеной метут и чистят, выбрасывают полупустые мешки, наклеивают ярлычки на банки и коробки, расставляют тарелки, кастрюли и сковородки на полки, которые столько лет пустовали. Даже ножи, которые всегда валялись на кухонном столе, точно стайка серебряных рыбок только-только из сетей, — и те угодили в ящик.

Дедушка стоял позади Дугласа и добрых пять минут прислушивался к этой суете. Потом озабо-

ченно поскреб подбородок.

— Да, пожалуй, тут в кухне и вправду испокон веков царил хаос. Кое-что надо бы привести в порядок, это верно. И если тетя Роза права, Дуг, дружок, завтра у нас будет такой ужин, какой никому и во сне не снился!

— Да, сэр, — сказал Дуглас, — и во сне не снился.

— Что там у тебя? — спросила бабушка.

Тетя Роза подала ей сверток, который прятала за спиной.

Бабушка его развернула.

— Поваренная книга! — воскликнула она и уронила книгу на стол. — Не надо мне ее. Просто я кладу пригоршню того, щепотку сего, капельку этого — и все тут...

— Я помогу вам все закупить, — сказала тетя Роза. — И еще, я смотрю, пора заняться вашим зрением. Неужели вы все эти годы портите себе глаза такими ужасными очками? Ведь оправа вся перекошена, стекла исцарапаны — удивительно, что вы до сих пор не свалились куда-нибудь в мучной ларь. Немедленно идемте за новыми!

И они вышли на солнечную улицу, и бабушка, ошеломленная и сбитая с толку, покорно плелась рядом с тетей Розой.

Вернулись они нагруженные всяческой бакалеей, куплены были и новые очки, и шампунь. Вид у бабушки был такой, точно она бегала по всему городу, спасаясь от погони. Она совсем запыхалась, и тете Розе пришлось помочь ей подняться на крыльцо.

— Ну вот, бабушка. Теперь у вас каждая вещь на своем месте. И теперь вы можете все разглядеть!

— Пойдем, Дуг, — сказал дедушка. — Прогуляемся перед ужином. Обойдем наш квартал и нагуляем аппетит. Сегодня будет исторический вечер. Попомни мое слово, такого ужина еще свет не видал!

Час ужина. Улыбка сбежала с лиц. Дуглас три минуты жевал первый кусок и наконец, сделав вид, что утирает рот, выплюнул его в салфетку. Том и отец сделали то же самое. За столом кто собирал еду на тарелке в одну кучку, кто чертил в ней вилкой разные узоры и дорожки, рисовал соусом целые картины, кто строил из ломтиков картофеля дворцы и замки, кто украдкой совал куски мяса собаке.

Первым из-за стола встал дедушка.

— Я сыт, — сказал он.

Остальные сидели притихшие, понурые.

Бабушка бестолково тыкала вилкой в тарелку.

— Правда, как вкусно? — спросила тетя Роза, не обращаясь ни к кому в отдельности. — И приготовить успели даже на полчаса раньше обычного!

Но остальные думали о том, что за воскресеньем настанет понедельник, а там и вторник, потянется долгая неделя, и все завтраки будут такие же унылые, обеды — такие же безрадостные, ужины — такие же мрачные. В несколько минут столовая опустела. Наверху, каждый у себя в комнате, домочадцы предались горестным размышлениям.

Бабушка, потрясенная, поплелась на кухню.

— Ну вот что, — сказал дедушка. — Дело зашло слишком далеко. — Он подошел к лестнице и крикнул наверх, навстречу пропыленному солнечному лучу: — Эй, спускайтесь все вниз!

Все обитатели дома собрались в полутемной уютной библиотеке, заперлись там и толковали вполголоса. Дедушка преспокойно пустил шляпу по кругу.

— Это будет банк, — сказал он. Потом тяжело опустил руку на плечо Дугласа. — У нас есть для тебя очень важное поручение, дружок. Вот слушай… — И он доверительно зашептал Дугласу на ухо, обдавая его теплым дыханьем.

На другой день Дуглас отыскал тетю Розу в саду,

она срезала цветы.

— Тетя Роза, — серьезно предложил он, — пойдемте погуляем, хорошо? Я покажу вам овраг, где живут бабочки, вон в той стороне!

Они обошли вдвоем весь город. Дуглас болтал без умолку, беспокойно и торопливо; на тетку он не глядел и только прислушивался к бою часов на здании суда.

Когда они под прогретыми летним солнцем вязами подходили к дому, тетя Роза вдруг ахнула и схватилась рукой за горло.

На нижних ступенях крыльца стояли все ее аккуратно упакованные пожитки. На одном из чемоданов ветерок шевелил края розового железнодорожного билета.

Все десять обитателей дома сидели на веранде, лица у них были суровые и непреклонные. Дедушка сошел с крыльца — торжественно, как проводник в поезде, как мэр города, как добрый друг. Он взял тетю Розу за руку. — Роза, — начал он, — мне надо тебе кое-что сказать, — а сам все пожимал и тряс ее руку.

— В чем дело? — спросила тетя Роза.

— До свиданья! — сказал дедушка.

В предвечерней тишине издалека донесся зов паровоза и рокот колес. Веранда опустела,

чемоданов как не бывало, в комнате тети Розы — никого. Дедушка пошарил на полке в библиотеке и с улыбкой вытащил из-за томика Эдгара По аптечный пузырек.

Бабушка вернулась домой — она ходила в город за покупками, совсем одна.

— А где же тетя Роза?

— Мы проводили ее на вокзал, — ответил дедушка. — Мы прощались, и все очень горевали. Ей ужасно не хотелось уезжать, но она прислала тебе самый сердечный привет и обещала навестить опять годиков эдак через десяток. — Дедушка вынул массивные золотые часы. — Теперь пойдемте-ка все в библиотеку и выпьем по стаканчику хереса, а потом бабушка, по своему обыкновению, задаст нам пир горой.

Бабушка удалилась на кухню.

Все домочадцы и дедушка с Дугласом болтали, смеялись и прислушивались к негромкой возне на кухне. И когда бабушка ударила в гонг, все, теснясь и подталкивая друг друга, заторопились в столовую.

Все откусили по огромному куску.

Бабушка переводила испытующий взгляд с одного лица на другое. Все молча уставились себе в тарелки, сложили руки на коленях, а за щекой

так и остался недожеванный кусок.

— Я разучилась, — сказала бабушка. — Я больше не умею стряпать…

И заплакала.

Потом встала и побрела в свою аккуратнейшую кухню, с аккуратнейшими наклейками на всех банках, неся перед собой бесполезные, точно чужие, руки.

Все легли спать голодными.

Дуглас слышал, как часы на здании суда пробили половину одиннадцатого, одиннадцать, потом полночь, слышал, как все остальные опять и опять ворочаются в постелях, будто под залитой лунным светом крышей просторного дома шумит неумолчный прибой. Ну конечно же, никто не спит, всех одолевают невеселые мысли. Наконец он сел в постели. И заулыбался стене и зеркалу. Отворил дверь и прокрался вниз, а улыбка все не сходила с его лица. В гостиной было темно, пахло старостью и одиночеством. Дуглас затаил дыханье.

Ощупью пробрался в кухню, минуту постоял, выжидая.

Потом взялся за дело.

Пересыпал сахарную пудру из прекрасной новой банки в старый мешок, где она всегда была

раньше. Вывалил белую муку в старый глиняный горшок. Извлек сахар из огромного жестяного короба с надписью «Сахар» и разложил его в привычные коробки помельче, на которых было написано «Пряности», «Ножи», «Шпагат». Рассыпал гвоздику по дну полудюжины ящиков, где она лежала годами. Снял с полки тарелки, вытащил из ящиков ножи и вилки — им место на столах.

Потом он отыскал новые бабушкины очки на камине в гостиной и спрятал их в погребе. И наконец, разжег в старой дровяной плите большущий огонь, а на растопку пустил листы из новой поваренной книги. К часу ночи в печной трубе взревел такой столб пламени и дыма, что проснулись даже те, кому удалось уснуть. По лестнице зашаркали бабушкины шлепанцы. Вот она уже стоит в кухне и только растерянно моргает, глядя на весь этот хаос. Дуглас шмыгнул за дверь кладовой и притаился.

Среди ночи, в половине второго, сквозняки понесли по всем коридорам соблазнительные запахи. Сверху спускались одни за другим все обитатели дома — женщины в папильотках, мужчины в купальных халатах на цыпочках подкрадывались к двери и заглядывали в кухню, освещенную только прихотливыми вспышками

багрового пламени в шипящей плите. Здесь, в темной кухне, среди грохота и звона, точно привидение, проплывала бабушка; было уже два часа ночи, и без новых очков она опять плохо видела, и руки ее по наитию нащупывали в полумраке все, что нужно, сыпали душистые специи в булькающие кастрюли и исходящие паром котелки с необыкновенной стряпней; она что-то хватала, помешивала, переливала, и раскрасневшееся лицо ее в отблесках огня казалось совсем красным, колдовским и околдованным.

Домочадцы тихо-тихо накрыли стол лучшей скатертью, разложили сверкающее серебро и вместо электричества зажгли свечи, чтобы не нарушить чары.

Дедушка вернулся домой очень поздно — он весь вечер работал в типографии — и с изумлением услышал, что в столовой, при свечах, читают застольную молитву.

А еда? Мясо было поджарено с пряностями, соусы приправлены кэрри, зелень полита душистым маслом, печенье обрызгано каплями золотого меда; все мягкое, сочное и такой восхитительной свежести, что над столом пронесся то ли тихий стон, то ли мычанье, словно на лугу в густом клевере пировало стадо. Все громко ра-

довались, что на них только свободные ночные одеяния и ничто не стесняет их талии.

В половине четвертого ночи, под воскресенье, когда весь дом переполнило тепло благодушной сытости и дружелюбия, дедушка наконец отодвинул свой стул и величественно помахал рукой. Вышел в библиотеку и вернулся с томом Шекспира. Положил его на доску, на который режут хлеб, и преподнес жене.

— Бабушка, — сказал он, — сделай милость, приготовь нам завтра на ужин эту превосходную книгу. Я уверен, завтра в сумерки, когда она попадет на обеденный стол, она станет нежной, сочной, поджаристой и мягкой, как грудка осеннего фазана.

Бабушка взяла тяжелую книгу обеими руками и заплакала от радости.

До самой зари никто не ложился спать, все что-то ели на сладкое, пили настойки из полевых цветов, которые росли в палисаднике, и лишь когда встрепенулись первые птицы и на востоке угрожающе блеснуло солнце, все разбрелись по спальням. Дуглас прислушался — в далекой кухне остывала печь. Прошла к себе бабушка.

Старьевщик, думал он, мистер Джонас, где-то вы сейчас? Вот теперь я вас отблагодарил, я

уплатил долг. Я тоже сделал доброе дело, ну да, я передал это дальше…

Он заснул и увидел сон.

Во сне звонил гонг и все с восторженными воплями бежали в столовую завтракать.

И вдруг лето кончилось.

Дуглас обнаружил это, когда они однажды шли по улице. Том ахнул, схватил его за руку и ткнул пальцем в витрину дешевой лавчонки. Они остановились как вкопанные: из витрины невозмутимо, с ужасающим спокойствием на них глядели предметы совсем иного мира.

— Карандаши, Дуг, десять тысяч карандашей!

— Тьфу ты, пропасть!

— Блокноты, грифельные доски, ластики, акварельные краски, линейки, компасы — сто тысяч штук!

— Не смотри. Может, это просто мираж!

— Нет, — в отчаянии простонал Том. — Это школа.

Самая настоящая школа! Ну с какой стати паршивые лавчонки выставляют все это напоказ, когда лето еще не кончилось? Половину каникул отравили!

Они пошли дальше и дома застали дедушку одного на высохшей, полысевшей лужайке — он

собирал последние редкие одуванчики. Некоторое время они молча помогали ему, а потом Дуглас склонился к собственной тени и сказал:

— Как, по-твоему, Том, какой у нас получится следующий год? Лучше этого или хуже?

— Ты меня не спрашивай. — Том подул в стебель одуванчика, точно в дудку. — Ведь не я создал мир. — Он на минуту задумался. — Хотя иногда мне кажется, что все это моих рук дело.

И он лихо сплюнул.

— У меня предчувствие, — сказал Дуглас.

— Какое?

— Следующий год будет еще больше, и дни будут ярче, и ночи длиннее и темнее, и еще люди умрут, и еще малыши родятся, а я буду в самой гуще всего этого.

— Ну да, ты и еще триллиарды людей не забудь, пожалуйста.

— В такие дни, как сегодня, мне кажется… что я буду один, — пробормотал Дуглас.

— Как понадобится помощь — только кликни, — сказал Том.

— Много ли поможет десятилетний братишка?

— Десятилетнему братишке на то лето будет уже одиннадцать. Я буду каждое утро развертывать мир, как резиновую ленту на мяче для

гольфа, а вечером завертывать обратно. Если очень попросишь — покажу, как это делается.

— Спятил!

— Всегда был такой. — Том скосил глаза и высунул язык. — И всегда буду.

Дуглас засмеялся. Они пошли с дедушкой в погреб, и пока тот обрывал головки одуванчиков, мальчики смотрели на полки, где недвижными потоками сверкало минувшее лето, закупоренное в бутылки с вином из одуванчиков. Девяносто с лишним бутылок из-под кетчупа, по одной на каждый летний день, почти все полные доверху, жарко светятся в сумраке погреба.

— Вот это здорово, — сказал Том. — Отличный способ сохранить живьем июнь, июль и август. Лучше и не придумаешь.

Дедушка поднял голову, подумал и улыбнулся.

— Да, это вернее, чем запихивать на чердак вещи, которые никогда больше не понадобятся. А так хоть на улице и зима, то и дело на минуту переселяешься в лето; ну а когда бутылки опустеют, тут уж лету конец — и тогда не о чем жалеть, и не остается вокруг никакого сентиментального хлама, о который спотыкаешься еще сорок лет. Чисто, бездымно, действенно — вот оно какое, вино из одуванчиков.

Мальчики тыкали пальцем то в одну, то в другую бутылку.

— Это — первый летний день.

— А в этот день я купил новые теннисные туфли.

— Верно! А это — Зеленая машина!

— Пыль буйволов и Чин Линсу!

— Колдунья Таро! Душегуб!

— По-настоящему лето не кончилось, — сказал Том. — Оно никогда не кончится. Я век буду помнить весь этот год — в какой день что было.

— Оно кончилось еще прежде, чем началось, — сказал дедушка, разбирая винный пресс. — Вот я решительно ничего не помню, разве только эту новую траву, которую не нужно косить.

— Ты шутишь!

— Ничуть. Когда-нибудь вы сами убедитесь, мальчики, что к старости дни как-то тускнеют… и уже не отличишь один от другого…

— Как же так! — сказал Том. — В этот понедельник я катался на роликах в Электрик-парке, во вторник ел шоколадный торт, в среду упал и растянул ногу, в четверг свалился с виноградной лозы — да вся неделя была полным-полна всяких событий! И сегодняшний день я тоже запомню, потому что листья все желтеют и краснеют. Скоро

они засыплют всю лужайку, и мы соберем их в кучи и будем на них прыгать, а потом спалим. Никогда я не забуду сегодняшний день! Век буду его помнить, это я точно знаю!

Дедушка поглядел вверх, в оконце погреба, на предосенние деревья — листва шелестела под ветром, и ветер уже дышал прохладой.

— Конечно, ты его запомнишь. Том, — сказал он. — Конечно, запомнишь.

И они оторвались от мягкого мерцанья вина из одуванчиков и вышли из погреба: надо было совершить последние обряды лета, ибо настал последний день и последняя ночь. А к вечеру они вдруг спохватились — оказывается, вот уже три дня, как веранды пустеют совсем рано. И в воздухе пахнет как-то по-другому, суше, и бабушка поговаривает теперь не о ледяном чае, а о горячем кофе; открытые окна, в которых трепетали белые занавески, понемногу закрываются; холодные закуски уступают место горячему мясу. На верандах больше нет москитов, они покинули поле боя — и тут войне со Временем настал конец, люди тоже отступили, укрылись в теплых комнатах.

Как три месяца назад, — или это были три долгих столетия? — Том, Дуглас и дедушка стояли на веранде, и она скрипела, словно корабль, что

дремлет ночью, покачиваясь на волнах, и все трое втягивали ноздрями воздух. Мальчикам казалось: в начале лета кости у них были как стебли зеленой мяты и лакрицы, а теперь обратились в мел и слоновую кость. Но прежде всего осенняя прохлада коснулась костей дедушки, точно неумелая рука забарабанила по пожелтевшим басовым клавишам фортепьяно, которое стоит в столовой.

Дедушка повернулся к северу, как стрелка компаса.

— Пожалуй, мы больше не будем выходить сюда по вечерам, — сказал он раздумчиво.

И втроем они сняли цепи с крюков в потолке и унесли качели в гараж, будто старые разбитые похоронные дроги, а за ними летели на землю первые сухие листья. Слышно было, как бабушка растапливает камин в библиотеке. Вдруг налетел ветер и в окнах задребезжали стекла.

Дуглас в последний раз остался ночевать сегодня в своей комнатке в башне; он достал блокнот и записал:

«Теперь все идет обратным ходом. Как в кино, когда фильм пускают задом наперед — люди выскакивают из воды на трамплин. Наступает сентябрь, закрываешь окошко, которое открыл в

июне, снимаешь теннисные туфли, которые надел тогда же, и влезаешь в тяжеленные башмаки, которые тогда забросил. Теперь люди скорей прячутся в дом, будто кукушки обратно в часы, когда прокукуют время. Только что на верандах было полно народу и все трещали, как сороки. И сразу двери захлопнулись, никаких разговоров не слыхать, только листья с деревьев так и падают».

Он поглядел из высокого окна: на равнине по руслам ручьев валяются, как сушеный инжир, дохлые сверчки; в небе под заунывные крики гагар уже скоро потянутся к югу птицы, деревья взметут к свинцовым тучам буйные костры пламенеющей листвы. Из далеких полей доносится запах дозревающих тыкв — они уже сами тянутся к ножу, скоро в них прорежут треугольники глаз и глянет изнутри жгучее пламя свечи. А тут, в городе, из труб взвились первые клубы дыма, и где-то приглушенно позвякивает железо — значит, по желобам в погреба уже потекли жесткие черные реки и скоро там в ларях вырастут высокие темные холмы угля.

Но время идет, час уже поздний.

В высокой башне над городом Дуглас протянул руку.

— Всем раздеваться!

Он подождал. Холодный ветер леденил оконное стекло.

— Чистить зубы! — Он еще подождал.

— Теперь, — сказал он наконец, — гасите свет! — И мигнул. И город сонно замигал в ответ: часы на здании суда пробили десять, половину одиннадцатого, одиннадцать и дремотную полночь, и один за другим гасли огни.

— Ну, теперь последние… вон там… и тут…

Он лежал в постели, а вокруг спал город, и овраг лежал темный, и озеро чуть колыхалось в берегах, и повсюду его родные и друзья, старики и молодые спали на этой ли, на другой ли улице, в этом ли, в другом ли доме, или на далеких кладбищах за городом.

Дуглас закрыл глаза.

Июньские зори, июльские полдни, августовские вечера — все прошло, кончилось, ушло навсегда и осталось только в памяти. Теперь впереди долгая осень, белая зима, прохладная зеленеющая весна, и за это время нужно обдумать минувшее лето и подвести итог. А если он что-нибудь забудет — что ж, в погребе стоит вино из одуванчиков, на каждой бутылке выведено число, и в них — все дни лета, все до единого. Можно почаще спускаться в погреб и глядеть пря-

мо на солнце, пока не заболят глаза, а тогда он их закроет и всмотрится в жгучие пятна, мимолетные шрамы от виденного, которые все еще будут плясать внутри теплых век, и станет расставлять по местам каждое отражение и каждый огонек, пока не вспомнит все, до конца…

С этими мыслями он уснул.

И этим сном окончилось лето тысяча девятьсот двадцать восьмого года.